

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

М.М. ПРИШВИН

ЛИСИЧКИН ХЛЕБ

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

М. М. ПРИШВИН

ЛИСИЧКИН ХЛЕБ

МОСКВА «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» 1979

Р2
П77

Текст печатается по изданию:
М. Пришвин. В краю дедушки Мазая. М., «Советская Россия», 1971.

Пришвин М. М.

П77 Лисичкин хлеб.— М.: Сов. Россия, 1979.— 64 с.— (Школьная б-ка).

В сборник вошли повесть «Кладовая солнца» и цикл рассказов «Лисичкин хлеб».

П $\frac{70803-240}{М-105(03)79}$ инф. 79 4803010101 Р2

КЛАДОВАЯ СОЛНЦА

I

В одном селе, возле Блудова болота, в районе города Переславль-Залесского, осиротели двое детей. Их мать умерла от болезни, отец погиб на Отечественной войне.

Мы жили в этом селе всего только через один дом от детей. И, конечно, мы тоже вместе с другими соседями старались помочь им чем только могли. Они были очень милые. Настя была как Золотая Курочка на высоких ножках. Волосы у нее, ни темные, ни светлые, отливали золотом, веснушки по всему лицу были крупные, как золотые монетки, и частые, и тесно им было, и лезли они во все стороны. Только носик один был чистенький и глядел вверх.

Митраша был моложе сестры на два года. Ему было всего только десять лет с хвостиком. Он был коротенький, но очень плотный, лобастый, затылок широкий. Это был мальчик упрямый и сильный.

«Мужичок в мешочке»,— улыбаясь, называли его между собой учителя в школе.

«Мужичок в мешочке», как и Настя, был весь в золотых веснушках, а носик его, чистенький тоже, как у сестры, глядел вверх.

После родителей все их крестьянское хозяйство досталось детям: изба пятистенная, корова Зорька, телушка Дочка, коза Дереза, безыменные овцы, куры, золотой петух Петя и поросенок Хрен.

Вместе с этим богатством досталась, однако, детишкам бедным и большая забота о всех живых существах. Но с такой ли бедой справлялись наши дети в тяжкие годы Отечественной войны! Вначале, как мы уже говорили, к детям приходили помогать их дальние родственники и все мы, соседи. Но очень что-то скоро умненькие и дружные ребята сами всему научились и стали жить хорошо.

И какие это были умные детишки! Если только возможно было, они присоединялись к общественной работе. Их носики можно было видеть на колхозных полях, на лугах, на скотном дворе, на собраниях, в противотанковых рвах: носики такие задорные.

В этом селе мы, хотя и приезжие люди, знали хорошо жизнь каждого дома. И теперь можем сказать: не было ни одного дома, где бы жили и работали так дружно, как жили наши любимцы.

Точно так же, как и покойная мать, Настя вставала далеко до солнца, в предрассветный час, по трубе пастуха. С хворостиной в руке выгоняла она свое любимое стадо и катилась обратно в избу. Не ложась уже больше спать, она растопляла печь, чистила картошку, заправляла обед и так хлопотала по хозяйству до ночи.

Митраша выучился у отца делать деревянную посуду: бочонки, шайки, лохани. У него есть фуганок, ладило[1] длиной больше чем в два его роста. И этим ладилом он подгоняет дощечки одну к одной, складывает и обдерживает железными или деревянными обручами.

При корове двум детям не было такой уж нужды, чтобы продавать на рынке деревянную посуду, но добрые люди просят, кому — шайку на умывальник, кому нужен под капели бочонок, кому — кадушечку солить огурцы или грибы, или даже простую посудинку с зубчиками — домашний цветок посадить.

Сделает, и потом ему тоже отплатят добром. Но, кроме бондарства, на нем лежит и все мужское хозяйство и общественное дело. Он бывает на всех собраниях, старается понять общественные заботы и, наверно, что-то смекает.

Очень хорошо, что Настя постарше брата на два года, а то бы он непременно зазнался и в дружбе у них не было бы, как теперь, прекрасного равенства. Бывает, и теперь Митраша вспомнит, как отец наставлял его мать, и вздумает, подражая отцу, тоже учить свою сестру Настю. Но сестренка мало слушается, стоит и улыбается... Тогда «Мужичок в мешочке» начинает злиться и хорохориться и всегда говорит, задрав нос:

— Вот еще!

— Да чего ты хорохоришься? — возражает сестра.

— Вот еще! — сердится брат.— Ты, Настя, сама хорохоришься.

— Нет, это ты!

— Вот еще!

Так, помучив строптивого брата, Настя оглаживает его по затылку. И как только маленькая ручка сестры коснется широкого затылка брата, отцовский задор покидает хозяина.

— Давай-ка вместе полоть,— скажет сестра.

И брат тоже начинает полоть огурцы, или свеклу мотыжить, или картошку полоть.

II

Кислая и очень полезная для здоровья ягода клюква растет в болотах летом, а собирают ее поздней осенью. Но не все знают, что самая-самая хорошая клюква, сладкая, как у нас

[1] **Ладило** — бондарный инструмент.

говорят, бывает, когда она перележит зиму под снегом.

Этой весной снег в густых ельниках еще держался и в конце апреля, но в болотах всегда бывает много теплее: там в это время снега уже не было вовсе. Узнав об этом от людей, Митраша и Настя стали собираться за клюквой. Еще до свету Настя задала корм всем своим животным. Митраша взял отцовское двуствольное ружье «тулку», манки на рябчиков и не забыл тоже и компас. Никогда, бывало, отец его, направляясь в лес, не забудет этого компаса. Не раз Митраша спрашивал отца:

— Всю жизнь ты ходишь по лесу, и тебе лес известен весь, как ладонь. Зачем же тебе еще нужна эта стрелка?

— Видишь, Дмитрий Павлович,— отвечал отец,— в лесу эта стрелка тебе добрей матери: бывает, небо закроется тучами и по солнцу в лесу ты определиться не можешь, пойдешь наугад — ошибешься, заблудишься, заголодаешь. Вот тогда взгляни только на стрелку — и она укажет тебе, где твой дом. Пойдешь прямо по стрелке домой, и тебя там покормят. Стрелка эта тебе верней друга: бывает, друг твой изменит тебе, а стрелка неизменно всегда, как ее ни верти, все на север глядит.

Осмотрев чудесную вещь, Митраша запер компас, чтобы стрелка в пути зря не дрожала. Он хорошо, по-отцовски, обернул вокруг ног портянки, вправил в сапоги, картузик надел такой старый, что козырек его разделился надвое: верхняя корочка задралась выше солнца, а нижняя спускалась почти до самого носика. Оделся же Митраша в отцовскую старую куртку, вернее же в воротник, соединяющий полосы когда-то хорошей домотканой материи. На животике своем мальчик связал эти полосы кушаком, и отцовская куртка села на нем, как пальто, до самой земли. Еще сын охотника заткнул за пояс топор, сумку с компасом повесил на правое плечо, двуствольную «тулку» — на левое и так сделался ужасно страшным для всех птиц и зверей.

Настя, начиная собираться, повесила себе через плечо на полотенце большую корзину.

— Зачем тебе полотенце? — спросил Митраша.

— А как же? — ответила Настя.— Ты разве не помнишь, как мама за грибами ходила?

— За грибами! Много ты понимаешь: грибов бывает много, так плечо режет.

— А клюквы, может быть, у нас еще больше будет.

И только хотел сказать Митраша свое «вот еще!», вспомнилось ему, как отец о клюкве сказал, еще когда собирали его на войну.

— Ты это помнишь,— сказал Митраша сестре,— как

отец нам говорил о клюкве, что есть палестинка[1] в лесу.

— Помню,— ответила Настя,— о клюкве говорил, что знает местечко и клюква там осыпучая, но что он о какой-то палестинке говорил, я не знаю. Еще помню, говорил про страшное место Слепую елань[2].

— Вот там, возле елани, и есть палестинка,— сказал Митраша.— Отец говорил: идите на Высокую гриву и после того держите на север и, когда перевалите через Звонкую борину, держите все прямо на север и увидите — там придет вам палестинка, вся красная, как кровь, от одной только клюквы. На этой палестинке еще никто не бывал!

Митраша говорил это уже в дверях. Настя во время рассказа вспомнила: у нее от вчерашнего дня остался целый, нетронутый чугунок вареной картошки. Забыв о палестинке, она тихонечко шмыгнула к загнетке и опрокинула в корзинку весь чугунок.

«Может быть, еще и заблудимся,— подумала она.— Хлеба у нас взято довольно, есть бутылка молока, и картошка, может быть, тоже пригодится».

А брат в это время, думая, что сестра все стоит за его спиной, рассказывал ей о чудесной палестинке и что, правда, на пути к ней Слепая елань, где много погибло и людей, и коров, и коней.

— Ну, так что это за палестинка? — спросила Настя.

— Так ты ничего не слыхала?! — схватился он.

И терпеливо повторил ей уже на ходу все, что слышал от отца о не известной никому палестинке, где растет сладкая клюква.

III

Блудово болото, где и мы сами не раз тоже блуждали, начиналось, как почти всегда начинается большое болото, непроходимою зарослью ивы, ольхи и других кустарников. Первый человек прошел эту приболотицу с топором в руке и вырубил проход для других людей. Под ногами человеческими после осели кочки, и тропа стала канавкой, по которой струилась вода. Дети без особого труда перешли эту приболотицу в предрассветной темноте. И когда кустарники перестали заслонять вид впереди, при первом утреннем свете им открылось болото, как море. А впрочем, оно же и было, это Блудово болото, дном древнего моря. И как там, в настоящем море,

---

[1] Палестинкой называют в народе какое-нибудь отменно приятное местечко в лесу.

[2] Елань — топкое место в болоте, все равно что прорубь на льду.

бывают острова, как в пустынях — оазисы, так и в болотах бывают холмы. У нас в Блудовом болоте эти холмы песчаные, покрытые высоким бором, называются боринами. Пройдя немного болотом, дети поднялись на первую борину, известную под названием Высокая грива. Отсюда, с высокой пролысинки, в серой дымке первого рассвета чуть виднелась борина Звонкая.

Еще не доходя до Звонкой борины, почти возле самой тропы, стали показываться отдельные кроваво-красные ягоды. Охотники за клюквой поначалу клали эти ягоды в рот. Кто не пробовал в жизни своей осеннюю клюкву и сразу бы хватил весенней, у него бы дух захватило от кислоты. Но деревенские сироты знали хорошо, что такое осенняя клюква, и оттого, когда теперь ели весеннюю, то повторяли:

— Какая сладкая!

Борина Звонкая охотно открыла детям свою широкую просеку, покрытую и теперь, в апреле, темно-зеленой брусничной травой. Среди этой зелени прошлого года кое-где виднелись новые цветочки белого подснежника и лиловые, мелкие, и частые, и ароматные цветочки волчьего лыка.

— Они хорошо пахнут, попробуй, сорви цветочек волчьего лыка,— сказал Митраша.

Настя попробовала надломить прутик стебелька и никак не могла.

— А почему это лыко называется волчьим? — спросила она.

— Отец говорил,— ответил брат,— волки из него себе корзинки плетут.

И засмеялся.

— А разве тут есть еще волки?

— Ну как же! Отец говорил, тут есть страшный волк Серый помещик.

— Помню. Тот самый, что порезал перед войной наше стадо.

— Отец говорил: он живет на Сухой речке в завалах.

— Нас с тобой он не тронет?

— Пусть попробует,— ответил охотник с двойным козырьком.

Пока дети так говорили и утро подвигалось все больше к рассвету, борина Звонкая наполнялась птичьими песнями, воем, стоном и криком зверьков. Не все они были тут, на борине, но с болота, сырого, глухого, все звуки собирались сюда. Борина с лесом, сосновым и звонким на суходоле, отзывалась всему.

Но бедные птички и зверушки, как мучились все они, стараясь выговорить какое-то общее всем, единое прекрасное слово! И даже дети, такие простые, как Настя и Митраша, понимали их усилие. Им всем хотелось сказать одно только какое-то слово прекрасное.

Видно, как птица поет на сучке, и каждое перышко дрожит у нее от усилия. Но все-таки слова, как мы, они сказать не могут, и им приходится выпевать, выкрикивать, выстукивать.

— Тэк-тэк! — чуть слышно постукивает огромная птица Глухарь в темном лесу.

— Шварк-шварк! — дикий Селезень в воздухе пролетел над речкой.

— Кряк-кряк! — дикая утка Кряква на озере.

— Гу-гу-гу...— красивая птичка Снегирь на березе.

Бекас, небольшая серая птичка с носом длинным, как сплющенная шпилька, раскатывается в воздухе диким барашком. Вроде как бы «жив, жив!» кричит кулик Кроншнеп. Тетерев там где-то бормочет и чуфыркает. Белая Куропатка, как будто ведьма, хохочет.

Мы, охотники, давно, с детства своего, и различаем, и радуемся, и хорошо понимаем, над каким словом все они трудятся и не могут сказать. Вот почему мы, когда придем в лес ранней весной на рассвете и услышим, так и скажем им, как людям, это слово:

— Здравствуйте!

И как будто они тогда тоже обрадуются, как будто они тогда тоже подхватят чудесное слово, слетевшее с языка человеческого.

И закрякают в ответ, и зачуфыркают, и зашваркают, и затэтэкают, стараясь всеми голосами своими ответить нам.

— Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!

Но вот среди всех этих звуков выр вался один — ни на что не похожий.

— Ты слышишь? — спросил Митраша.

— Как же не слышать! — ответила Настя.— Давно слышу, и как-то страшно.

— Ничего нет страшного. Мне отец говорил и показывал: это так весной заяц кричит.

— А зачем?

— Отец говорил: он кричит: «Здравствуй, зайчиха!»

— А это что ухает?

— Отец говорил: это ухает выпь, бык водяной.

— И чего он ухает?

— Отец говорил: у него есть тоже своя подруга, и он ей

по-своему тоже так говорит, как и все: «Здравствуй, выпиха».

И вдруг стало свежо и бодро, как будто вся земля сразу умылась, и небо засветилось, и все деревья запахли корой своей и почками. Вот тогда как будто над всеми звуками вырвался, вылетел и все покрыл особый, торжествующий крик, похожий, как если бы все люди радостно в стройном согласии могли закричать:

— Победа, победа!

— Что это? — спросила обрадованная Настя.

— Отец говорил: это так журавли солнце встречают. Это значит, что скоро солнце взойдет.

Но солнце еще не взошло, когда охотники за сладкой клюквой спустились в большое болото. Тут еще совсем и не начиналось торжество встречи солнца. Над маленькими корявыми елочками и березками серой мглой висело ночное одеяло и глушило все чудесные звуки Звонкой борины. Только слышался тут тягостный, щемящий и нерадостный вой.

— Что это, Митраша,— спросила Настенька, ежась,— так страшно воет вдали?

— Отец говорил,— ответил Митраша,— это воют на Сухой речке волки, и, наверно, сейчас это воет волк Серый помещик. Отец говорил, что все волки на Сухой речке убиты, но Серого убить невозможно.

— Так отчего же он страшно воет теперь?

— Отец говорил: волки воют весной оттого, что им есть теперь нечего. А Серый еще остался один, вот и воет.

Болотная сырость, казалось, проникала сквозь тело к костям и студила их. И так не хотелось еще ниже спускаться в сырое, топкое болото.

— Мы куда же пойдем? — спросила Настя.

Митраша вынул компас, установил север и, указывая на более слабую тропу, идущую на север, сказал:

— Мы пойдем на север по этой тропе.

— Нет,— ответила Настя,— мы пойдем вот по этой большой тропе, куда все люди идут. Отец нам рассказывал, помнишь, какое это страшное место — Слепая елань, сколько погибло в нем людей и скота. Нет, нет, Митрашенька, не пойдем туда. Все идут в эту сторону,— значит, там и клюква растет.

— Много ты понимаешь! — оборвал ее охотник.— Мы пойдем на север, как отец говорил, там есть палестинка, где еще никто не бывал.

Настя, заметив, что брат начинает сердиться, вдруг улыбнулась и погладила его по затылку. Митраша сразу успокоился, и друзья пошли по тропе, указанной стрелкой, теперь уже не рядом, как раньше, а друг за другом, гуськом.

IV

Лет двести тому назад ветер-сеятель принес два семечка в Блудово болото: семя сосны и семя ели. Оба семечка легли в одну ямку возле большого плоского камня... С тех пор уже лет, может быть, двести эти ель и сосна вместе растут. Их корни с малолетства сплелись, их стволы тянулись вверх рядом к свету, стараясь обогнать друг друга... Деревья разных пород боролись между собой корнями за питание, сучьями — за воздух и свет. Поднимаясь всё выше, толстея стволами, они впивались сухими сучьями в живые стволы и местами насквозь прокололи друг друга. Злой ветер, устроив деревьям такую несчастную жизнь, прилетал сюда иногда покачать их. И тогда деревья так стонали и выли на все Блудово болото, как живые существа, что лисичка, свернувшаяся на моховой кочке в клубочек, поднимала вверх свою острую мордочку. До того близок был живым существам этот стон и вой сосны и ели, что одичавшая собака в Блудовом болоте, услыхав его, выла от тоски по человеку, а волк выл от неизбежной злобы к нему.

Сюда, к Лежачему камню, пришли дети в то самое время, когда первые лучи солнца, пролетев над низенькими корявыми болотными елочками и березками, осветили Звонкую борину и могучие стволы соснового бора стали как зажженные свечи великого храма природы. Оттуда сюда, к этому плоскому камню, где сели отдохнуть дети, слабо долетело пение птиц, посвященное восходу великого солнца.

Было совсем тихо в природе, и дети, озябшие, до того были тихи, что тетерев Косач не обратил на них никакого внимания. Он сел на самом верху, где сук сосны и сук ели сложились как мостик между двумя деревьями. Устроившись на этом мостике, для него довольно широком, ближе к ели, Косач как будто стал расцветать в лучах восходящего солнца. На голове его гребешок загорелся огненным цветком. Синяя в глубине черного грудь его стала переливать из синего на зеленое. И особенно красив стал его радужный, раскинутый лирой хвост.

Завидев солнце над болотными жалкими елочками, он вдруг подпрыгнул на своем высоком мостике, показал свое белое, чистейшее белье подхвостья, подкрылья и крикнул:

— Чуф, ши!

По-тетеревиному «чуф» скорее всего значило солнце, а «ши», вероятно, было у них наше «здравствуй».

В ответ на это первое чуфыканье Косача-токовика далеко по всему болоту раздалось такое же чуфыканье с хлопаньем крыльев, и вскоре со всех сторон сюда стали прилетать и са-

диться вблизи Лежачего камня десятки больших птиц, как две капли воды похожих на Косача.

Затаив дыхание, сидели дети на холодном камне, дожидаясь, когда и к ним придут лучи солнца и обогреют их хоть немного. И вот первый луч, скользнув по верхушкам ближайших, очень маленьких елочек, наконец-то заиграл на щеках у детей. Тогда верхний Косач, приветствуя солнце, перестал подпрыгивать и чуфыкать. Он присел низко на мостике у вершины елки, вытянул свою длинную шею вдоль сука и завел долгую, похожую на журчание ручейка песню. В ответ ему тут где-то вблизи сидящие на земле десятки таких же птиц,— тоже каждый петух,— вытянув шею, затянули ту же самую песню. И тогда как будто довольно уже большой ручей с бормотаньем побежал по невидимым камешкам.

Сколько раз мы, охотники, выждав темное утро, на зябкой заре с трепетом слушали это пение, стараясь по-своему понять, о чем поют петухи. И когда мы по-своему повторяли их бормотанья, то у нас выходило:

Круты перья,
Ур-гур-гу,
Круты перья,
Обор-ву, оборву.

Так бормотали дружно тетерева, собираясь в то же время подраться. И когда они так бормотали, случилось небольшое событие в глубине еловой густой кроны. Там сидела на гнезде ворона и все время таилась там от Косача, токующего почти возле самого гнезда. Ворона очень бы желала прогнать Косача, но она боялась оставить гнездо и остудить на утреннем морозе яйца. Стерегущий гнездо ворона-самец в это время делал свой облет и, наверно встретив что-нибудь подозрительное, задержался. Ворона в ожидании самца залегла в гнезде, была тише воды, ниже травы. И вдруг, увидев летящего обратно самца, крикнула свое:

— Кра!

Это значило у нее:

— Выручай!

— Кра! — ответил самец в сторону тока в том смысле, что еще неизвестно, кто кому оборвет круты перья.

Самец, сразу поняв, в чем тут дело, спустился и сел на тот же мостик, возле елки, у самого гнезда, где Косач токовал, только поближе к сосне, и стал выжидать.

Косач в это время, не обращая на самца вороны никакого внимания, выкрикнул свое, известное всем охотникам:

— Кар-кар-кекс!

И это было сигналом ко всеобщей драке всех токующих петухов. Ну и полетели во все-то стороны круты перья! И тут,

как будто по тому же сигналу, ворона-самец мелкими шагами по мостику незаметно стал подбираться к Косачу.

Неподвижные, как изваяния, сидели на камне охотники за сладкой клюквой. Солнце, такое горячее и чистое, вышло против них над болотными елочками. Но случилось на небе в это время одно облачко. Оно явилось как холодная синяя стрелка и пересекло собой пополам восходящее солнце. В то же время вдруг ветер рванул еще раз, и тогда нажала сосна, и ель зарычала.

В это время, отдохнув на камне и согревшись в лучах солнца, Настя с Митрашей встали, чтобы продолжать дальше свой путь. Но у самого камня довольно широкая болотная тропа расходилась вилкой: одна, хорошая, плотная тропа, шла направо, другая, слабенькая,— прямо.

Проверив по компасу направление троп, Митраша, указывая слабую тропу, сказал:

— Нам надо по этой на север.

— Это не тропа! — ответила Настя.

— Вот еще! — рассердился Митраша.— Люди шли,— значит тропа. Нам надо на север. Идем, и не разговаривай больше.

Насте было обидно подчиниться младшему Митраше.

— Кра! — крикнула в это время ворона в гнезде.

И ее самец мелкими шажками перебежал ближе к Косачу на полмостика.

Вторая круто-синяя стрелка пересекла солнце, и сверху стала надвигаться серая хмарь.

Золотая Курочка собралась с силами и попробовала уговорить своего друга.

— Смотри,— сказала она,— какая плотная моя тропа, тут все люди ходят. Неужели мы умней всех?

— Пусть ходят все люди,— решительно ответил упрямый «Мужичок в мешочке».— Мы должны идти по стрелке, как отец нас учил, на север, к палестинке.

— Отец нам сказки рассказывал, он шутил с нами,— сказала Настя.— И, наверно, на севере вовсе нет никакой палестинки. Очень даже будет глупо нам по стрелке идти: как раз не на палестинку, а в самую Слепую елань угодим.

— Ну ладно,— резко повернул Митраша.— Я с тобой больше спорить не буду: ты иди по своей тропе, куда все бабы ходят за клюквой, я же пойду сам по себе, по своей тропке, на север.

И в самом деле пошел туда, не подумав ни о корзине для клюквы, ни о пище.

Насте бы надо было об этом напомнить ему, но она так

сама рассердилась, что, вся красная, как кумач, плюнула вслед ему и пошла за клюквой по общей тропе.

— Кра! — закричала ворона.

И самец быстро перебежал по мостику остальной путь до Косача и со всей силой долбанул его. Как ошпаренный метнулся Косач к улетающим тетеревам, но разгневанный самец догнал его, вырвал, пустил по воздуху пучок белых и радужных перышек и погнал и погнал далеко.

Тогда серая хмарь плотно надвинулась и закрыла все солнце с его живительными лучами. Злой ветер очень резко рванул. Сплетенные корнями деревья, прокалывая друг друга сучьями, на все Блудово болото зарычали, завыли, застонали.

V

Деревья так жалобно стонали, что из полуобвалившейся картофельной ямы возле сторожки Антипыча вылезла его гончая собака Травка и точно так же, в тон деревьям, жалобно завыла.

Зачем же надо было вылезать собаке так рано из теплого, належанного подвала и жалобно выть, отвечая деревьям?

Среди звуков стона, рычания, ворчания, воя в это утро у деревьев иногда выходило так, будто где-то горько плакал в лесу потерянный или покинутый ребенок.

Вот этот плач и не могла выносить Травка и, заслышав его, вылезла из ямы в ночь и в полночь. Этот плач сплетенных навеки деревьев не могла выносить собака: деревья животному напоминали о его собственном горе.

Уже целых два года прошло, как случилось ужасное несчастье в жизни Травки: умер обожаемый ею лесник, старый охотник Антипыч.

Мы с давних лет ездили к этому Антипычу на охоту, и старик, думается, сам позабыл, сколько ему было лет, все жил, жил в своей лесной сторожке, и казалось — он никогда не умрет.

— Сколько тебе лет, Антипыч? — спрашивали мы.— Восемьдесят?

— Мало,— отвечал он.

— Сто?

— Много.

Думая, что он это шутит с нами, а сам хорошо знает, мы спрашивали:

— Антипыч, ну брось свои шутки, скажи нам по правде: сколько же тебе лет?

— По правде,— отвечал старик,— я вам скажу, если вы вперед скажете мне, что есть правда, какая она, где живет и как ее найти.

Трудно было ответить нам.

— Ты, Антипыч, старше нас,— говорили мы,— и ты, наверно, сам лучше нас знаешь, где правда.

— Знаю,— усмехался Антипыч.

— Ну, скажи.

— Нет, пока жив я, сказать не могу, вы сами ищите. Ну, а как умирать буду, приезжайте, я вам тогда на ушко перешепну всю правду. Приезжайте!

— Хорошо, приедем. А вдруг не угадаем, когда надо, и ты без нас помрешь?

Дедушка прищурился по-своему, как он всегда щурился, когда хотел посмеяться и пошутить.

— Деточки, вы,— сказал он,— не маленькие, пора бы самим знать, а вы все спрашиваете. Ну, ладно уж, когда помирать соберусь и вас тут не будет, я Травке своей перешепну. Травка! — позвал он.

В хату вошла большая рыжая собака с черным ремешком по всей спине. У нее под глазами были черные полоски с загибом вроде очков. И от этого глаза казались очень большими, и ими она спрашивала: «Зачем позвал меня, хозяин?»

Антипыч как-то особенно поглядел на нее, и собака сразу поняла человека: он звал ее по приятельству, по дружбе, ни для чего, а просто так, пошутить, поиграть. Травка замахала хвостом, стала снижаться на ногах все ниже, ниже, и, когда подползла так к коленям старика, легла на спину и повернула вверх светлый живот с шестью парами черных сосков. Антипыч только руку протянул было, чтобы погладить ее, она как вдруг вскочит и лапами на плечи — чмок и чмок его: и в нос, и в щеки, и в самые губы.

— Ну, будет, будет,— сказал он, успокаивая собаку и вытирая лицо рукавом.

Погладил ее по голове и сказал:

— Ну будет, теперь ступай к себе.

Травка повернулась и вышла на двор.

— То-то, ребята,— сказал Антипыч.— Вот Травка, собака гончая, с одного слова все понимает, а вы, глупенькие, спрашиваете, где правда живет. Ладно же, приезжайте. А упустите меня, Травке я все перешепну.

И вот умер Антипыч. Вскоре после этого началась Великая Отечественная война. Другого сторожа на место Антипыча не назначили, и сторожку его бросили. Очень ветхий был домик, старше много самого Антипыча, и держался уже на подпорках. Как-то раз без хозяина ветер поиграл с домиком, и он сразу же весь развалился, как разваливается карточный домик от одного дыхания младенца. В один год высокая трава иван-чай проросла через бревнышки, и от всей избушки

остался на лесной поляне холмик, покрытый красными цветами. А Травка переселилась в картофельную яму и стала жить в лесу, как и всякий зверь.

Только очень трудно было Травке привыкать к дикой жизни. Она гоняла зверей для Антипыча, своего великого и милостивого хозяина, но не для себя. Много раз случалось ей на гону поймать зайца. Подмяв его под себя, она ложилась и ждала, когда Антипыч придет, и, часто вовсе голодная, не позволяла себе есть зайца. Даже если Антипыч почему-нибудь не приходил, она брала зайца в зубы, высоко задирала голову, чтобы он не болтался, и тащила домой. Так она и работала на Антипыча, но не на себя: хозяин любил ее, кормил и берег от волков. А теперь, когда умер Антипыч, ей нужно было, как и всякому дикому зверю, жить для себя. Случалось, не один раз на жарком гону она забывала, что гонит зайца только для того, чтобы поймать его и съесть. До того забывалась Травка на такой охоте, что, поймав зайца, тащила его к Антипычу и тут иногда, услыхав стон деревьев, взбиралась на холм, бывший когда-то избушкой, и выла и выла...

К этому вою давно уже прислушивается волк Серый помещик...

VI

Сторожка Антипыча была вовсе не далеко от Сухой речки, куда несколько лет тому назад, по заявке местных крестьян, приезжала наша волчья команда. Местные охотники проведали, что большой волчий выводок жил где-то на Сухой речке. Мы приехали помочь крестьянам и приступили к делу по всем правилам борьбы с хищным зверем.

Ночью, забравшись в Блудово болото, мы выли по-волчьи и вызвали ответный вой всех волков на Сухой речке. И так мы точно узнали, где они живут и сколько их. Они жили в самых непроходимых завалах Сухой речки. Тут давным-давно вода боролась с деревьями за свою свободу, а деревья должны были закреплять берега. Вода победила, деревья попадали, а после того и сама вода разбежалась в болоте. Многими ярусами были навалены деревья и гнили. Сквозь деревья пробилась трава, лианы плюща завили частые молодые осинки. И так создалось крепкое место, или даже, можно сказать по-нашему, по-охотничьи, волчья крепость.

Определив место, где жили волки, мы обошли его на лыжах и по лыжнице, по кругу в три километра, развесили по кустикам на веревочке флаги, красные и пахучие. Красный цвет пугает волков, и запах кумача страшит, и особенно боязливо им бывает, если ветерок, пробегая сквозь лес, там и тут шевелит этими флагами.

Сколько у нас было стрелков, столько мы сделали ворот в непрерывном кругу этих флагов. Против каждых ворот становился где-нибудь за густой елочкой стрелок.

Осторожно покрикивая и постукивая палками, загонщики взбудили волков, и они сначала тихонько пошли в свою сторону. Впереди шла сама волчица, за ней — молодые переярки, и сзади, в стороне, отдельно и самостоятельно,— огромный лобастый матерый волк, известный крестьянам злодей, прозванный Серым помещиком.

Волки шли очень осторожно. Загонщики нажали. Волчица пошла на рысях. И вдруг...

Стоп! Флаги!

Она повернула в другую сторону и там тоже:

Стоп! Флаги!

Загонщики нажимали все ближе и ближе. Старая волчица потеряла волчий смысл и, ткнувшись туда-сюда, как придется, нашла себе выход и в самых воротцах была встречена выстрелом в голову всего в десятке шагов от охотника.

Так погибли все волки, но Серый не раз бывал в таких переделках и, услыхав первые выстрелы, махнул через флаги. На прыжке в него было пущено два заряда: один оторвал ему левое ухо, другой — половину хвоста.

Волки погибли, но Серый за одно лето порезал коров и овец не меньше, чем резала их раньше целая стая. Из-за кустика можжевельника он дожидался, когда отлучатся или уснут пастухи. И, определив нужный момент, врывался в стадо и резал овец и портил коров. После того, схватив себе одну овцу на спину, мчал ее, прыгая с овцой через изгороди к себе, в недоступное логовище на Сухой речке. Зимой, когда стада в поле не выходили, ему очень редко приходилось врываться в какой-нибудь скотный двор. Зимой он ловил больше собак в деревнях и питался почти только собаками. И до того обнаглел, что однажды, преследуя собаку, бегущую за санями хозяина, загнал ее в сани и вырвал прямо из рук хозяина.

Серый помещик сделался грозой края, и опять крестьяне приехали за нашей волчьей командой. Пять раз мы пытались его зафлажить, и все пять раз он у нас махал через флаги. И вот теперь, ранней весной, пережив суровую зиму в страшном холоде и голоде, Серый в своем логове дожидался с нетерпением, когда же, наконец, придет настоящая весна и затрубит деревенский пастух.

В то утро, когда дети между собой поссорились и пошли по разным тропам, Серый лежал, голодный и злой. Когда ветер замутил утро и завыли деревья возле Лежачего камня, он не выдержал и вылез из своего логова. Он стал над зава-

лом, поднял голову, подобрал и так тощий живот, поставил единственное ухо на ветер, выпрямил половину хвоста и завыл.

Какой это жалобный вой! Но ты, прохожий человек, если услышишь и у тебя поднимется ответное чувство, не верь жалости: воет не собака, вернейший друг человека,— это волк, злейший враг его, самой злобой своей обреченный на гибель. Ты, прохожий, побереги свою жалость не для того, кто о себе воет, как волк, а для того, кто, как собака, потерявшая хозяина, воет, не зная, кому же теперь, после него, ей послужить.

VII

Сухая речка большим полукругом огибает Блудово болото. На одной стороне полукруга воет собака, на другой — воет волк. А ветер нажимает на деревья и разносит их вой и стон, вовсе не зная, кому он служит. Ему все равно, кто воет, дерево, собака — друг человека, или волк — злейший враг его,— лишь бы он выл. Ветер предательски доносит волку жалобный вой покинутой человеком собаки. И Серый, разобрав живой стон собаки от стона деревьев, тихонечко выбрался из завалов и с настороженным единственным ухом и прямой половинкой хвоста поднялся на взлобок. Тут, определив место воя возле Антиповой сторожки, с холма прямо на широких махах пустился в том направлении.

К счастью для Травки, сильный голод заставил ее прекратить свой печальный плач или, может быть, призыв к себе нового человека. Может быть, для нее, в ее собачьем понимании, Антипыч вовсе даже не умирал, а только отвернул от нее лицо свое. Может быть, она даже и так понимала, что весь человек — это и есть один Антипыч со множеством лиц. И если одно лицо его отвернулось, то, может быть, скоро ее позовет к себе опять тот же Антипыч, только с другим лицом, и она этому лицу будет так же верно служить, как тому...

Так-то скорее всего и было: Травка воем своим призывала к себе Антипыча.

И волк, услыхав эту ненавистную ему собачью «молитву» о человеке, пошел туда на махах. Повой она еще каких-нибудь минут пять, и Серый схватил бы ее. Но, «помолившись» Антипычу, она почувствовала сильный голод, она перестала звать Антипыча и пошла для себя искать заячий след.

Это было в то время года, когда ночное животное, заяц, не ложится при первом наступлении утра, чтобы весь день в страхе лежать с открытыми глазами. Весной заяц долго и при белом свете бродит открыто и смело по полям и дорогам. И вот один старый русак после ссоры детей пришел

туда, где они разошлись, и тоже, как они, сел отдохнуть и прислушаться на Лежачем камне. Внезапный порыв ветра с воем деревьев испугал его, и он, прыгнув с Лежачего камня, побежал своими заячьими прыжками, бросая задние ножки вперед, прямо к месту страшной для человека Слепой елани. Он еще хорошенько не вылинял и оставлял следы не только на земле, но еще развешивал зимнюю шерсточку на кустарнике и на старой, прошлогодней высокой траве.

С тех пор как заяц на камне посидел, прошло довольно времени, но Травка сразу причуяла след русака. Ей помешали погнаться за ним следы на камне двух маленьких людей и их корзины, пахнущей хлебом и вареной картошкой.

Так вот и стала перед Травкой задача трудная — решить: идти ли ей по следу русака на Слепую елань, куда тоже пошел след одного из маленьких людей, или же идти по человеческому следу, идущему вправо, в обход Слепой елани.

Трудный вопрос решился бы очень просто, если бы можно было понять, который из двух человечков понес с собой хлеб. Вот бы поесть этого хлебца немного и начать гон не для себя и принести зайца тому, кто даст хлеб.

Куда же идти, в какую сторону?..

У людей в таких случаях является раздумье, а про гончую собаку охотники говорят: собака скололась.

Так и Травка скололась. И как всякая гончая в таком случае, начала делать круги с высоко поднятой головой, с чутьем, направленным и вверх, и вниз, и в стороны, и с пытливым напряжением глаз.

Вдруг порыв ветра с той стороны, куда пошла Настя, мгновенно остановил быстрый ход собаки по кругу. Травка, постояв немного, даже поднялась вверх на задние лапы, как заяц...

С ней было так однажды еще при жизни Антипыча. Была у лесника трудная работа в лесу по отпуску дров. Антипыч, чтобы не мешала ему Травка, привязал ее у дома. Рано утром, на рассвете, лесник ушел. Но только к обеду Травка догадалась, что цепь на другом конце привязана к железному крюку на толстой веревке. Поняв это, она стала на завалинку, поднялась на задние лапы, передними подтянула себе веревку и к вечеру перемяла ее. Сейчас же после того с цепью на шее она пустилась на поиски Антипыча. Больше полусуток истекло времени с тех пор, как Антипыч прошел, след его простыл и потом был смыт мелким моросливым дождиком, похожим на росу. Но тишина весь день в лесу была такая, что за день ни одна струйка воздуха не переместилась и тончайшие пахучие частицы табачного дыма из трубки Антипыча повисали в неподвижном воздухе с утра и до вечера. Поняв сразу, что по

следам найти невозможно Антипыча, сделав круг с высоко поднятой головой, Травка вдруг попала на табачную струю воздуха и по табаку мало-помалу, то теряя воздушный след, то опять встречаясь с ним, добралась-таки до хозяина.

Был такой случай. Теперь, когда ветер порывом сильным и резким принес в ее чутье подозрительный запах, она окаменела, выждала. И когда ветер опять рванул, стала, как и тогда, на задние лапы по-заячьи и уверилась: хлеб или картошка была в той стороне, откуда ветер летел и куда ушел один из маленьких человечков.

Травка вернулась к Лежачему камню, проверила запах корзины на камне с тем, что ветер нанес. Потом она проверила след другого маленького человечка и тоже заячий след. Можно догадываться, она так и подумала:

«Заяц-русак пошел прямым следом на дневную лежку, он где-нибудь тут же, недалеко, возле Слепой елани, и лег на весь день и никуда не уйдет. А тот человечек с хлебом и картошкой может уйти. Да и какое же может быть сравнение — трудиться, надрываться, гоняя для себя зайца, чтобы разорвать его и сожрать самому, или же получить кусок хлеба и ласку от руки человека и, может быть, даже найти в нем Антипыча».

Поглядев еще раз внимательно в сторону прямого следа на Слепую елань, Травка окончательно повернулась в сторону тропы, обходящей Слепую елань с правой стороны, еще раз поднялась на задние лапы, уверясь, вильнула хвостом и рысью побежала туда.

VIII

Слепая елань, куда повела Митрашу стрелка компаса, было место погибельное, и тут на веках немало затянуло в болото людей, и еще больше скота. И уж, конечно, всем, кто идет в Блудово болото, надо хорошо знать, что такое Слепая елань.

Мы это так понимаем, что все Блудово болото, со всеми огромными запасами горючего, торфа, есть кладовая солнца. Да, вот именно так и есть, что горячее солнце было матерью каждой травинки, каждого цветочка, каждого болотного кустика и ягодки. Всем им солнце отдавало свое тепло, и они, умирая, разлагаясь, в удобрении передавали его, как наследство, другим растениям, кустикам, ягодкам, цветам и травинкам. Но в болотах вода не дает родителям-растениям передать все свое добро детям. Тысячи лет это добро под водой сохраняется, болото становится кладовой солнца, и потом вся эта кладовая солнца, как торф, достается человеку в наследство.

Блудово болото содержит огромные запасы горючего, но слой торфа не везде одинаковой толщины. Там, где сидели де-

ти у Лежачего камня, растения слой за слоем ложились друг на друга тысячи лет. Тут был старейший пласт торфа, но дальше, чем ближе к Слепой елани, слой становился все моложе и тоньше.

Мало-помалу, по мере того как Митраша продвигался вперед по указанию стрелки и тропы, кочки под его ногами становились не просто мягкими, как раньше, а полужидкими. Ступит ногой как будто на твердое, а нога уходит и становится страшно: не совсем ли в пропасть уходит нога? Попадаются какие-то вертлявые кочки, приходится выбирать место, куда ногу поставить. А потом и так пошло, что ступишь, а у тебя под ногой от этого вдруг, как в животе, заурчит и побежит куда-то под болотом.

Земля под ногой стала как гамак, подвешенный над тенистой бездной. На этой подвижной земле, на тонком слое сплетенных между собой корнями и стеблями растений стоят редкие, маленькие, корявые и заплесневелые елочки. Кислая болотная почва не дает им расти, и им, таким маленьким, лет уже по сто, а то и побольше... Елочки-старушки не как деревья в бору, все одинаковые: высокие, стройные, дерево к дереву, колонна к колонне, свеча к свече. Чем старше старушка на болоте, тем кажется чуднее. То вот одна голый сук подняла, как руку, чтобы обнять тебя на ходу, а у другой палка в руке, и она ждет тебя, чтобы хлопнуть, третья присела зачем-то, четвертая стоя вяжет чулок, и так все: что ни елочка, то непременно на что-то похожа.

Слой под ногами у Митраши становился все тоньше и тоньше, но растения, наверно, очень крепко сплелись и хорошо держали человека, и, качаясь и покачивая все далеко вокруг, он все шел и шел вперед. Митраше оставалось только верить тому человеку, кто шел впереди его и оставил даже тропу после себя.

Очень волновались старушки елки, пропуская между собой мальчика с длинным ружьем, в картузе с двумя козырьками. Бывает, одна вдруг поднимется, как будто хочет смельчака палкой ударить по голове, и закроет собой впереди всех других старушек. А потом опустится, и другая колдунья тянет к тропе костлявую руку. И ждешь — вот-вот, как в сказке, полянка покажется, и на ней избушка колдуньи с мертвыми головами на шестах.

Черный ворон, стерегущий свое гнездо на борине, облетая по сторожевому кругу болото, заметил маленького охотника с двойным козырьком. Весной и у ворона тоже является особый крик, похожий на то, как если человек крикнет горлом и в нос: «Дрон-тон!» Есть непонятные и неуловимые нашим ухом оттенки в основном звуке, и оттого мы не можем

понять разговор воронов, а только догадываемся, как глухонемые.

— Дрон-тон! — крикнул сторожевой ворон в том смысле, что какой-то маленький человек с двойным козырьком и ружьем близится к Слепой елани и что, может быть, скоро будет пожива.

— Дрон-тон! — ответила издали на гнезде ворон-самка. И это означало у нее:

— Слышу и жду!

Сороки, состоящие с воронами в близком родстве, заметили перекличку воронов и застрекотали. И даже лисичка после неудачной охоты за мышами навострила ушки на крик ворона.

Митраша все это слышал, но ничуть не струсил,— что ему было трусить, если под его ногами тропа человеческая: шел такой же человек, как и он,— значит, и он сам, Митраша, мог по ней смело идти. И, услыхав ворона, он даже запел:

Ты не вейся, черный ворон,
Над моею головой.

Пение подбодрило его еще больше, и он даже смекнул, как ему сократить трудный путь по тропе. Поглядывая себе под ноги, он заметил, что нога его, опускаясь в грязь, сейчас же собирает туда, в ямку, воду. Так и каждый человек, проходя по тропе, спускал воду из мха пониже, и оттого на осушенной бровке, рядом с ручейком тропы, по ту и другую сторону, аллейкой вырастала высокая сладкая трава белоус. По этой, не желтого цвета, как всюду было теперь, ранней весной, а скорее цвета белого, траве можно было далеко впереди себя понять, где проходит тропа человеческая. Вот Митраша увидел: его тропа круто завертывает влево, и туда идет далеко, и там совсем исчезает. Он проверил по компасу, стрелка глядела на север, тропа уходила на запад.

— Чьи вы? — закричал в это время чибис.

— Жив, жив! — ответил кулик.

— Дрон-тон! — еще увереннеи крикнул ворон.

И кругом в елочках затрещали сороки.

Оглядев местность, Митраша увидел прямо перед собой чистую, хорошую поляну, где кочки, постепенно снижаясь, переходили в совершенно ровное место. Но самое главное: он увидел, что совсем близко, по той стороне поляны, змеилась высокая трава белоус — неизменный спутник тропы человеческой. Узнавая по направлению белоуса тропу, идущую прямо на север, Митраша подумал: «Зачем же я буду поверты-

вать налево, на кочки, если тропа вон рукой подать — виднеется там, за полянкой?»

И он смело пошел вперед, пересекая чистую полянку.

— Эх, вы! — бывало, говорил нам Антипыч, когда мы провалимся в болото, придем домой грязные, мокрые.— Ходите вы, ребята, одетые и обутые.

— А то как же? — спрашивали мы.

— Ходили бы,— отвечал он,— голенькие и разутые.

— Зачем же голенькие и разутые?

А он то-то над нами покатывался.

Так мы ничего и не понимали, чему смеялся старик.

Теперь только, через много лет, приходят в голову слова Антипыча, и все становится понятным: обращал к нам Антипыч эти слова, когда мы, ребятишки, задорно и уверенно посвистывая, говорили о том, чего еще вовсе не испытали.

Антипыч, предлагая ходить нам голенькими и разутыми, только не договаривал: «Не знавши броду, не лезьте в воду».

Так вот и Митраша. И благоразумная Настя предупреждала его. И трава белоус показывала направления обхода елани. Нет! Не знавши броду, оставил выбитую тропу человеческую и прямо полез в Слепую елань. А между тем тут-то вот именно, на этой полянке, вовсе прекращалось сплетение растений, тут была елань, то же самое, что зимой в пруду прорубь. В обыкновенной елани всегда бывает видна хоть чуть-чуть водица, прикрытая белыми прекрасными купавами, водяными лилиями. Вот за то эта елань называлась Слепою, что по виду ее было невозможно узнать.

Митраша по елани шел вначале лучше, чем даже раньше по болоту. Постепенно, однако, нога его стала утопать все глубже и глубже, и становилось все труднее и труднее вытаскивать ее обратно. Тут лосю хорошо, у него страшная сила в длинной ноге, и, главное, он не задумывается и мчится одинаково и в лесу и болоте. Но Митраша, почуяв опасность, остановился и призадумался над своим положением. В один миг остановки он погрузился по колено, в другой миг ему стало выше колена. Он еще мог бы, сделав усилие, вырваться из елани обратно. И надумал было он повернуться, положить ружье на болото и, опираясь на него, выскочить. Но тут же, совсем недалеко от себя, впереди, увидел высокую белую траву на следу человеческом.

— Перескочу,— сказал он.

И рванулся.

Но было уже поздно. Сгоряча, как раненый,— пропадать, так уж пропадать,— на авось, рванулся еще, и еще, и еще. И почувствовал себя плотно охваченным со всех сторон по самую грудь. Теперь даже и сильно дыхнуть ему нельзя было: при малейшем движении его тянуло вниз, он мог сделать только одно: положить плашмя ружье на болото и, опираясь на него двумя руками, не шевелиться и успокоить поскорее дыхание. Так он и сделал: снял с себя ружье, положил его перед собой, оперся на него той и другой рукой.

Внезапный порыв ветра принес ему пронзительный Настин крик:

— Митраша!

Он ей ответил.

Но ветер был с той стороны, где Настя. И уносил его крик в другую сторону Блудова болота, на запад, где без конца были только елочки. Одни сороки отозвались ему и, перелетая с елочки на елочку с обычным их тревожным стрекотанием, мало-помалу окружили всю Слепую елань, и, сидя на верхних пальчиках елок, тонкие, косатые, длиннохвостые, стали трещать, одна вроде:

— Дри-ти-ти!

Другие:

— Дра-та-та!

— Дрон-тон! — крикнул ворон сверху.

И очень умные на всякое поганое дело сороки смекнули о полном бессилии погруженного в болото маленького человечка. Они соскочили с верхних пальчиков елок на землю и с разных сторон начали прыжками свое сорочье наступление.

Маленький человечек с двойным козырьком кричать перестал. По его загорелому лицу, по щекам блестящими ручейками потекли слезы.

IX

Кто никогда не видел, как растет клюква, тот может очень долго идти по болоту и не замечать, что он по клюкве идет. Вот взять ягоду чернику,— та растет, и ее видишь: стебелечек тоненький тянется вверх, по стебельку, как крылышки, в разные стороны зеленые маленькие листики, и у листиков сидят мелким горошком чернички, черные ягодки с синим пушком. Так же брусника, кровяно-красная ягода, листики темно-зеленые, плотные, не желтеют даже под снегом, и так много бывает ягоды, что место, кажется, кровью полито. Еще растет в болоте голубика кустиком, ягода голубая, более крупная, не пройдешь, не заметив. В глухих местах, где живет

огромная птица глухарь, встречается костяника, красно-рубиновая ягода кисточкой, и каждый рубинчик в зеленой оправе. Только у нас одна-единственная ягода клюква, особенно ранней весной, прячется в болотной кочке и почти невидима сверху. Только уж когда очень много ее соберется на одном месте, заметишь сверху и подумаешь: «Вот кто-то клюкву рассыпал». Наклонишься взять одну, попробовать и тянешь вместе с одной ягодинкой зеленую ниточку со многими клюквинками. Захочешь — и можешь вытянуть себе из кочки целое ожерелье крупных кровяно-красных ягод.

То ли что клюква — ягода дорогая весной, то ли что полезная и целебная и что чай с ней хорошо пить, только жадность при сборе ее развивается страшная. Одна старушка у нас раз набрала такую корзину, что и поднять не могла. И отсыпать ягоду или вовсе бросить корзину тоже не посмела. Да так и померла возле полной корзины.

А то бывает, женщина нападает на ягоду и, оглядев кругом — не видит ли кто,— приляжет к земле на болото и ползет.

Вначале Настя срывала с плети каждую ягодку отдельно, за каждой красненькой ягодкой наклонялась к земле. Но скоро из-за одной ягодки наклоняться перестала; ей больше хотелось.

Она стала уже теперь догадываться, где не одну-две ягодки можно взять, а целую горсточку, и стала наклоняться только за горсточкой. Так она ссыпает горсточку за горсточкой, все чаще и чаще, а хочется все больше и больше.

Бывало, раньше дома часу не поработает Настенька, чтобы не вспомнился брат, чтобы не захотелось с ним перекликнуться. А вот теперь он ушел один неизвестно куда, а она и не помнит, что ведь хлеб-то у нее, что любимый брат там где-то, в темном болоте, голодный идет. Да она и о себе самой забыла и помнит только о клюкве, и ей хочется все больше и больше.

Из-за чего же ведь и весь сыр-бор загорелся у нее при споре с Митрашей: именно что ей захотелось идти по набитой тропе. А теперь, следуя ощупью за клюквой, куда клюква ведет, туда и она, Настя незаметно сошла с набитой тропы.

Было только один раз вроде пробуждения: она вдруг поняла, что где-то сошла с тропы. Повернула туда, где, показалось, проходила тропа, но там тропы не было. Она бросилась было в другую сторону, где маячили два дерева сухие с голыми сучьями — там тоже тропы не было. Тут-то бы, к случаю, и вспомнить ей про компас, как о нем говорил Мит-

раша, и своего-то брата, своего любимого вспомнить, что он голодный идет, и, вспомнив, перекликнуться с ним...

И только-только бы вспомнить, как вдруг Настенька увидела такое, что не всякой клюквеннице достается хоть раз в жизни своей увидеть...

В споре своем, по какой тропке идти, дети одного не знали, что большая тропа и малая, огибая Слепую елань, обе сходились на Сухой речке и там, за Сухой, больше уже не расходясь, в конце концов выводили на большую Переславскую дорогу. Большим полукругом Настина тропа огибала по суходолу Слепую елань. Митрашина тропа шла напрямик возле самого края елани. Не сплошай он, не упусти из виду траву белоус на тропе человеческой, он давным-давно бы уже был на том месте, куда пришла только теперь Настя. И это место, спрятанное между кустиками можжевельника, и было как раз той самой палестинкой, куда Митраша стремился по компасу.

Приди сюда Митраша голодный и без корзины, что бы ему было тут делать, на этой палестинке кроваво-красного цвета?

На палестинку пришла Настя с большой корзиной, с большим запасом продовольствия, забытым и покрытым кислой ягодой.

И опять бы девочке, похожей на Золотую Курочку на высоких ножках, подумать при радостной встрече с палестинкой о брате своем и крикнуть ему:

— Милый друг, мы пришли!

Ах, ворон, ворон, вещая птица! Живешь ты, может быть, сам триста лет, и кто породил тебя, тот в яичке своем пересказал все, что он тоже узнал за свои триста лет жизни. И так от ворона к ворону переходила память о всем, что было в этом болоте за тысячу лет. Сколько же ты, ворон, видел и знаешь, и отчего ты хоть один раз не выйдешь из своего вороньего круга и не перенесешь на своих могучих крыльях весточку о погибающем брате?!

Ты бы, ворон, сказал им...

— Дрон-тон! — крикнул ворон, пролетая над самой головой погибающего человека.

— Слышу,— тоже в таком же «дрон-тон» ответила ему на гнезде ворониха,— только успей, урви чего-нибудь, пока его совсем не затянуло болото.

— Дрон-тон! — крикнул второй раз ворон-самец над девочкой, ползающей почти рядом с погибающим братом по мокрому болоту. И это «дрон-тон» у ворона значило, что от этой ползающей девочки вороновой семье, может быть, еще больше достанется.

На самой середине палестинки не было клюквы. Тут выдался холмистой куртинкой частый осинник, и в нем стоял рогатый великан лось. Посмотреть на него с одной стороны — покажется, он похож на быка, посмотреть с другой — лошадь и лошадь: и стройное тело, и стройные ноги, сухие, и мурло с тонкими ноздрями. Но как выгнуто это мурло, какие глаза и какие рога! Смотришь и думаешь: а может быть, и нет ничего — ни быка, ни коня, а так складывается что-то большое, серое, в частом сером осиннике. Но как же складывается из осинника, если вот ясно видно, как толстые губы чудовища пришлепнулись к дереву и на нежной осинке остается узкая белая полоска: что чудовище так кормится. Да почти и на всех осинках виднеются такие загрызы. Нет, не видение в болоте эта громадина. Но как понять, что на осиновой корочке и лепестках болотного трилистника может вырасти такое большое тело? Откуда же у человека при его могуществе берется жадность даже к кислой ягоде клюкве?

Лось, обирая осинку, с высоты своей спокойно глядит на ползущую девочку.

Ничего не видя, кроме своей клюквы, ползет она и ползет к большому черному пню. Еле передвигает за собой корзинку, вся мокрая и грязная, прежняя Золотая Курочка на высоких ножках.

Лось ее и за человека не считает: у нее все повадки обычных зверей, на каких он смотрит равнодушно, как мы на бездушные камни.

А большой черный пень собирает в себя лучи солнца и сильно нагревается. Вот уже начинает вечереть, воздух и все кругом охлаждается. Но пень, черный и большой, еще сохраняет тепло. На него выползли из болот и припали к теплу шесть маленьких ящериц; четыре бабочки-лимонницы, сложив крылышки, припали усиками; большие черные мухи прилетели ночевать. Длинная клюквенная плеть, цепляясь за стебельки трав и неровности, оплела черный теплый пень и, сделав на самом верху несколько оборотов, спустилась по ту сторону. Ядовитые змеи-гадюки в это время года стерегут тепло, и одна, громадная, в полметра длиной, вползла на пень и свернулась колечком на клюкве.

А девочка тоже ползла по болоту, не поднимая вверх высоко головы. И так она приползла к горелому пню и дернула за самую плеть, где лежала змея. Гадина подняла голову и зашипела. И Настя тоже подняла голову.

Тогда-то, наконец, Настя очнулась, вскочила, и лось, узнав в ней человека, прыгнул из осинника и, выбрасывая вперед сильные, длинные ноги-ходули, помчался легко по вязкому болоту, как мчится по сухой тропинке заяц-русак.

Испуганная лосем, Настенька изумленно смотрела на змею: гадюка по-прежнему лежала, свернувшись колечком в теплом луче солнца. Насте представилось, будто это она сама осталась там, на пне, и теперь вышла из шкуры змеиной и стоит, не понимая, где она.

Совсем недалеко стояла и смотрела на нее большая рыжая собака с черными ремешками на спине. Собака эта была Травка. И Настя даже вспомнила ее: Антипыч не раз приходил с ней в село. Но кличку собаки вспомнить она не могла верно и крикнула ей:

— Муравка, Муравка, я дам тебе хлебца!

И потянулась к корзине за хлебом. Доверху корзина была наполнена, и под клюквой был хлеб.

Сколько же времени прошло, сколько клюквинок легло с утра до вечера, пока огромная корзина наполнилась? Где же был за это время брат голодный и как она забыла о нем, как она сама забыла себя и все вокруг?

Она опять поглядела на пень, где лежала змея, и вдруг пронзительно закричала:

— Братец, Митраша!

И, рыдая, упала возле корзины, наполненной клюквой.

Вот этот пронзительный крик и долетел тогда до елани, и Митраша это слышал и ответил, но порыв ветра тогда унес крик в другую сторону.

X

Тот сильный порыв ветра, когда крикнула бедная Настя, был еще не последним перед тишиной вечерней зари. Солнце в это время проходило вниз через толстое облако и выбросило оттуда на землю золотые ножки своего трона.

И тот порыв был еще не последним, когда в ответ на крик Насти закричал Митраша.

Последний порыв был, когда солнце погрузило как будто под землю золотые ножки своего трона и, большое, чистое, красное, нижним краешком своим коснулось земли. Тогда на суходоле запел свою милую песенку маленький певчий дрозд-белобровик. Несмело возле Лежачего камня на успокоенных деревьях затоковал Косач-токовик. И журавли прокричали три раза, не как утром — «победа», а вроде как бы:

— Спите, но помните: мы вас всех скоро разбудим, разбудим, разбудим!

День кончился не порывом ветра, а последним легким дыханием. Тогда наступила полная тишина, и везде стало все слышно, даже как пересвистывались рябчики в зарослях Сухой речки.

В это время, почуяв беду человеческую, Травка подошла к рыдающей Насте и лизнула ее в соленую от слез щеку. Настя подняла было голову, поглядела на собаку и так, ничего не сказав ей, опустила голову обратно и положила ее прямо на ягоду. Сквозь клюкву Травка явственно чуяла хлеб, и ей ужасно хотелось есть, но позволить себе покопаться лапами в клюкве она никак не могла. Вместо этого, чуя беду человеческую, она подняла высоко голову и завыла.

Мы как-то раз, помнится, давным-давно тоже так под вечер ехали, как в старину было, лесной дорогой на тройке, с колокольчиком. И вдруг ямщик осадил тройку, колокольчик замолчал, и, вслушиваясь, ямщик нам сказал:

— Беда!

Мы сами что-то услыхали.

— Что это?

— Беда какая-то: собака воет в лесу.

Мы тогда так и не узнали, какая была беда. Может быть, тоже где-то в болоте тонул человек, и, провожая его, выла собака, верный друг человека.

В полной тишине, когда выла Травка, Серый сразу понял, что это было на палестинке, и скорей, скорей замахал туда напрямик.

Только очень скоро Травка выть перестала. И Серый остановился переждать, когда вой снова начнется.

А Травка в это время сама услыхала в стороне Лежачего камня знакомый тоненький и редкий голосок:

— Тяв, тяв!

И сразу поняла, конечно, что это тявкала лисица по зайцу. И то, конечно, она поняла — лисица нашла след того же самого зайца-русака, что и она понюхала там, на Лежачем камне. И то поняла, что лисице без хитрости никогда не догнать зайца и тявкает она, только чтобы он бежал и морился, а когда уморится и ляжет, тут-то она и схватит его на лежке. С Травкой после Антипыча так не раз бывало при добывании зайца для пищи. Услыхав такую лисицу, Травка охотилась по волчьему способу: как волк на гону молча остановится на круг и, выждав ревущую по зайцу собаку, ловит ее, так и она, затаиваясь, из-под гона лисицы зайца ловила.

Выслушав гон лисицы, Травка точно так же, как и мы, охотники, поняла круг пробега зайца: от Лежачего камня заяц бежал на Слепую елань и оттуда на Сухую речку, оттуда долго полукругом на палестинку и опять непременно к Лежачему камню — и затаилась тут в густом кусту можжевельника.

Недолго пришлось Травке ждать. Тонким слухом своим она услыхала недоступное человеческому слуху чвяканье

заячьей лапы по лужицам и болотной тропе. Лужицы эти выступили на утренних следах Насти. Русак непременно должен был сейчас показаться у самого Лежачего камня.

Травка за кустом можжевельника присела и напружинила задние лапы для могучего броска и, когда увидела уши, бросилась.

Как раз в это время заяц, большой, старый, матерый русак, ковыляя еле-еле, вздумал внезапно остановиться и, даже привстав на задние ноги, послушать, далеко ли тявкает лисица.

Так вот одновременно сошлись: Травка бросилась, а заяц остановился.

И Травку перенесло через зайца.

Пока собака выправлялась, заяц огромными скачками летел уже по Митрашиной тропе прямо на Слепую елань.

Тогда волчий способ охоты не удался: до темноты нельзя было ждать возвращения зайца. И Травка своим собачьим способом бросилась вслед зайцу и, взвизгнув заливисто, мерным, ровным собачьим лаем наполнила всю вечернюю тишину.

Услыхав собаку, лисичка, конечно, сейчас же бросила охоту за русаком и занялась повседневной охотой на мышей... А Серый, наконец-то услышав долгожданный лай собаки, понесся на махах в направлении Слепой елани.

XI

Сороки на Слепой елани, услыхав приближение зайца, разделились на две партии: одни остались при маленьком человечке и кричали:

— Дри-ти-ти!

Другие кричали по зайцу:

— Дра-та-та!

Трудно разобраться и догадаться в этой сорочьей тревоге. Сказать, что они зовут на помощь,— какая тут помощь! Если на сорочий крик придет человек или собака, сорокам же ничего не достанется. Сказать, что они созывают своим криком все сорочье племя на кровавый пир? Разве что так...

— Дри-ти-ти! — кричали сороки, подскакивая ближе и ближе к маленькому человечку.

Но подскочить совсем близко не могли: руки у человечка были свободны. И вдруг сороки смешались, одна и та же сорока то дрикнет на «и», то дрикнет на «а».

Это значило, что на Слепую елань заяц подходит.

Этот русак уже не один раз увертывался от Травки и хорошо знал, что гончая зайца догоняет и что, значит, надо дей-

ствовать хитростью. Вот почему перед самой еланью, не доходя маленького человека, он остановился и возбудил всех сорок. Все они расселись по верхним пальчикам елок, и все закричали по зайцу:

— Дра-та-та!

Но зайцы почему-то этому крику не придают значения и выделывают свои скидки, не обращая на сорок никакого внимания. Вот почему и думается иной раз, что ни к чему это сорочье стрекотанье и так это они, вроде как и люди, иногда от скуки в болтовне просто время проводят.

Заяц, чуть-чуть постояв, сделал свой первый огромный прыжок, или, как охотники говорят, свою скидку,— в одну сторону, постояв там, скинулся в другую и через десяток малых прыжков — в третью и там лег глазами к своему следу на тот случай, что, если Травка разберется в скидках, придет и к третьей скидке, так чтобы можно было вперед увидеть ее.

Да, конечно, умен, умен заяц, но все-таки эти скидки — опасное дело: умная гончая тоже понимает, что заяц всегда глядит в свой след, и так исхитряется взять направление на скидках, не по следам, а прямо по воздуху, верхним чутьем.

И как же, значит, бьется сердчишко у зайчишки, когда он слышит — лай собаки прекратился, собака скололась и начала делать у места скола молча свой страшный круг...

Зайцу повезло на этот раз. Он понял: собака, начав делать свой круг по елани, с чем-то там встретилась, и вдруг там явственно послышался голос человека и поднялся страшный шум...

Можно догадаться,— заяц, услыхав непонятный шум, сказал себе что-нибудь вроде нашего: «Подальше от греха»,— и, ковыль-ковыль, тихонечко вышел на обратный след к Лежачему камню.

А Травка, разлетевшись на елани по зайцу, вдруг в десяти шагах от себя глаза в глаза увидела маленького человечка и, забыв о зайце, остановилась как вкопанная.

Что думала Травка, глядя на маленького человечка в елани, можно легко догадаться. Ведь это для нас все мы равные. Для Травки все люди были как два человека — один Антипыч с разными лицами и другой человек — это враг Антипыча. И вот почему хорошая, умная собака не подходит сразу к человеку, а остановится и узнает, ее это хозяин или враг его.

Так вот и стояла Травка и глядела в лицо маленького человека, освещенного последним лучом заходящего солнца.

Глаза у маленького человека были сначала тусклые, мерт-

вые, но вдруг в них загорелся огонек, и вот это заметила Травка.

«Скорее всего, это Антипыч»,— подумала Травка.

И чуть-чуть, еле заметно вильнула хвостом.

Мы, конечно, не можем знать, как думала Травка, узнавая своего Антипыча, но догадываться, конечно, можно. Вы помните, бывало ли с вами так? Бывает, наклонишься в лесу к тихой заводи ручья и там, как в зеркале, увидишь — весь-то, весь человек, большой, прекрасный, как для Травки Антипыч, из-за твоей спины наклонился и тоже смотрится в заводь, как в зеркало. И так он прекрасен там, в зеркале, со всею природой, с облаками, лесами, и солнышко там внизу тоже садится, и молодой месяц показывается и частые звездочки.

Так вот точно, наверно, и Травке в каждом лице человека, как в зеркале, виделся весь человек Антипыч, и к каждому стремилась она броситься на шею, но по опыту своему она знала: есть враг Антипыча с точно таким же лицом.

И она ждала.

А лапы ее между тем понемногу тоже засасывало; если так дальше стоять, то и собачьи лапы так засосет, что и не вытащишь. Ждать больше нельзя.

И вдруг...

Ни гром, ни молния, ни солнечный восход со всеми победными звуками, ни закат с журавлиным обещанием нового прекрасного дня — ничто, никакое чудо природы не могло быть больше того, что случилось сейчас для Травки в болоте: она услышала слово человеческое — и какое слово!

Антипыч, как большой, настоящий охотник, назвал свою собаку вначале, конечно, по-охотничьи — от слова травить, и наша Травка вначале у него называлась Затравка; но после охотничья кличка на языке оболталась, и вышло прекрасное имя Травка. В последний раз, когда приходил к нам Антипыч, собака его называлась еще Затравка. И когда загорелся огонек в глазах маленького человека, это значило, что Митраша вспомнил имя собаки. Потом омертвелые, синеющие губы маленького человека стали наливаться кровью, краснеть, зашевелились. Вот это движение губ Травка заметила и второй раз чуть-чуть вильнула хвостом. И тогда произошло настоящее чудо в понимании Травки. Точно так же, как старый Антипыч в самое старое время, новый молодой и маленький Антипыч сказал:

— Затравка!

Узнав Антипыча, Травка мгновенно легла.

— Ну, ну! — сказал Антипыч.— Иди ко мне, умница!

И Травка в ответ на слова человека тихонечко поползла.

Но маленький человек звал ее и манил сейчас не совсем

от чистого сердца, как думала, наверно, сама Травка. У маленького человека в словах не только дружба и радость была, как думала Травка, а тоже таился и хитрый план своего спасения. Если бы он мог пересказать ей понятно свой план, с какой радостью бросилась бы она его спасать. Но он не мог сделать себя для нее понятным и должен был обманывать ее ласковым словом. Ему даже надо было, чтобы она его боялась, а то если бы она его не боялась, не чувствовала хорошего страха перед могуществом великого Антипыча и по-собачьи со всех ног бросилась бы ему на шею, то неминуемо болото бы затащило в свои недра человека и его друга — собаку. Маленький человек просто не мог быть сейчас великим человеком, какой мерещился Травке. Маленький человек принужден был хитрить.

— Затравушка, милая Затравушка! — ласкал он ее сладким голосом.

А сам думал:

«Ну, ползи, только ползи!»

И собака, своей чистой душой подозревая что-то не совсем чистое в ясных словах Антипыча, ползла с остановками.

— Ну, голубушка, еще, еще!

А сам думал:

«Ползи только, ползи».

И вот понемногу она подползла. Он мог бы уже и теперь, опираясь на распластанное на болоте ружье, наклониться немного вперед, протянуть руку, погладить по голове. Но маленький хитрый человек знал, что от одного его малейшего прикосновения собака с визгом радости бросится на него и утопит.

И маленький человек остановил в себе большое сердце. Он замер в точном расчете движения, как боец в определяющем исход борьбы ударе: жить ему или умереть.

Вот еще бы маленький ползок по земле, и Травка бы бросилась на шею человека, но в расчете своем маленький человек не ошибся: мгновенно он выбросил свою правую руку вперед и схватил большую, сильную собаку за левую заднюю ногу.

Так неужели же враг человека так мог обмануть?

Травка с безумной силой рванулась, и она бы вырвалась из руки маленького человека, если бы тот, уже достаточно выволоченный, не схватил другой рукой ее за другую ногу. Мгновенно вслед за тем он лег животом на ружье, выпустил собаку и на четвереньках, сам как собака, переставляя опору-ружье все вперед и вперед, подполз к тропе, где постоянно ходил человек и где от ног его по краям росла высокая трава белоус. Тут, на тропе, он поднялся, тут он отер последние

слезы с лица, отряхнул грязь с лохмотьев своих и, как настоящий большой человек, властно приказал:

— Иди же теперь ко мне, моя Затравка!

Услыхав такой голос, такие слова, Травка бросила все свои колебания: перед ней стоял прежний, прекрасный Антипыч. С визгом радости, узнав хозяина, кинулась она ему на шею, и человек целовал своего друга и в нос, и в глаза, и в уши.

Не пора ли сказать теперь уж, как мы сами думаем, о загадочных словах нашего старого лесника Антипыча, когда он обещал перешепнуть свою правду собаке, если мы сами его не застанем живым? Мы думаем, Антипыч не совсем в шутку об этом сказал. Очень может быть, тот Антипыч, как Травка его понимает, или, по-нашему, весь человек в древнем прошлом его, перешепнул своему другу — собаке какую-то свою большую человеческую правду, и мы думаем, эта правда есть правда вековечной суровой борьбы людей за любовь.

XII

Нам теперь остается уже не много досказать о всех событиях этого большого дня в Блудовом болоте. День, как ни долог был, еще не совсем кончился, когда Митраша выбрался из елани с помощью Травки. После бурной радости от встречи с Антипычем деловая Травка сейчас же вспомнила свой первый гон по зайцу. И понятно: Травка — гончая собака, и дело ее — гонять для себя, но для хозяина Антипыча поймать зайца — это все ее счастье. Узнав теперь в Митраше Антипыча, она продолжала свой прерванный круг и вскоре попала на выходной след русака и по этому свежему следу сразу пошла с голосом.

Голодный Митраша, еле живой, сразу понял, что все спасение его будет в этом зайце, что если он убьет зайца, то огонь добудет выстрелом, и, как не раз бывало при отце, испечет зайца в горячей золе. Осмотрев ружье, переменив подмокшие патроны, он вышел на круг и притаился в кусту можжевельника.

Еще хорошо можно было видеть на ружье мушку, когда Травка завернула зайца от Лежачего камня на большую Настину тропу, выгнала на палестинку, направила его отсюда на куст можжевельника, где таился охотник. Но тут случилось, что Серый, услыхав возобновленный гон собаки, выбрал себе как раз тот самый куст можжевельника, где таился охотник, и два охотника, человек и злейший враг его, встретились. Увидев серую морду от себя в пяти каких-то шагах, Митраша забыл о зайце и выстрелил почти в упор.

Серый помещик окончил жизнь свою без всяких мучений.

Гон был, конечно, сбит этим выстрелом, но Травка дело свое продолжала. Самое же главное, самое счастливое был не заяц, не волк, а что Настя, услыхав близкий выстрел, закричала. Митраша узнал ее голос, ответил, и она вмиг к нему прибежала. После того вскоре и Травка принесла русака своему новому, молодому Антипычу, и друзья стали греться у костра, готовить себе еду и ночлег.

Настя и Митраша жили от нас через дом, и когда утром заревела у них на дворе голодная скотина, мы первые пришли посмотреть, не случилось ли какой беды у детей. Мы сразу поняли, что дети дома не ночевали и скорее всего заблудились в болоте. Собрались мало-помалу и другие соседи, стали думать, как нам выручить детей, если они еще только живы. И только собрались было рассыпаться по болоту во все стороны — глядим: а охотники за сладкой клюквой идут из леса гуськом, и на плечах у них шест с тяжелой корзиной, и рядом с ними Травка, собака Антипыча.

Они рассказали нам во всех подробностях обо всем, что с ними случилось в Блудовом болоте. И всему у нас поверили: неслыханный сбор клюквы был налицо. Но не все могли поверить, что мальчик на одиннадцатом году жизни мог убить старого хитрого волка. Однако несколько человек из них, кто поверил, с веревкой и большими санками отправились на указанное место и вскоре привезли мертвого Серого помещика. Тогда все в селе на время бросили свои дела и собрались, и даже не только из своего села, а даже из соседних деревень. Сколько тут было разговоров! И трудно сказать, на кого больше глядели,— на волка или на охотника в картузе с двойным козырьком. Когда переводили глаза с волка, говорили:

— А вот смеялись, дразнили: «Мужичок в мешочке»!

И тогда незаметно для всех прежний «Мужичок в мешочке», правда, стал переменяться и за следующие два года войны вытянулся, и какой из него парень вышел — высокий, стройный. И стать бы ему непременно героем Отечественной войны, да вот только война-то кончилась.

А Золотая Курочка тоже всех удивила в селе. Никто ее в жадности, как мы, не упрекал, напротив, все одобряли, и что она благоразумно звала брата на торную тропу, и что так много набрала клюквы. Но когда из детдома эвакуированных ленинградских детей обратились в село за посильной помощью больным детям, Настя отдала им всю свою целебную ягоду. Тут-то вот мы, войдя в доверие девочки, узнали от нее, как мучилась она про себя за свою жадность.

Нам остается теперь сказать еще несколько слов о себе: кто мы такие и зачем попали в Блудово болото. Мы — разведчики болотных богатств. Еще с первых дней Отечественной войны работали над подготовкой болота для добывания в нем горючего — торфа. И мы дознались, что торфа в этом болоте хватит для работы большой фабрики лет на сто. Вот какие богатства скрыты в наших болотах! А многие до сих пор только и знают об этих великих кладовых солнца, что в них будто бы черти живут: все это вздор, и никаких нет в болоте чертей.

1945

ЛИСИЧКИН ХЛЕБ

«ИЗОБРЕТАТЕЛЬ»

В одном болоте на кочке под ивой вывелись дикие кряковые утята. Вскоре после этого мать повела их к озеру по коровьей тропе. Я заметил их издали, спрятался за дерево, и утята подошли к самым моим ногам. Трех из них я взял себе на воспитание, остальные шестнадцать пошли себе дальше по коровьей тропе.

Подержал я у себя этих черных утят, и стали они вскоре все серыми. После из серых один вышел красавец разноцветный селезень и две уточки, Дуся и Муся. Мы им крылья подрезали, чтобы не улетели, и жили они у нас на дворе вместе с домашними птицами: куры были у нас и гуси.

С наступлением новой весны устроили мы своим дикарям из всякого хлама в подвале кочки, как на болоте, и на них гнезда. Дуся положила себе в гнездо шестнадцать яиц и стала высиживать утят. Муся положила четырнадцать, но сидеть на них не захотела. Как мы ни бились, пустая голова не захотела быть матерью.

И мы посадили на утиные яйца нашу важную черную курицу — Пиковую Даму.

Пришло время, вывелись наши утята. Мы их некоторое время подержали на кухне, в тепле, крошили им яйца, ухаживали.

Через несколько дней наступила очень хорошая, теплая погода, и Дуся повела своих черненьких к пруду, и Пиковая Дама своих в огород за червями.

— Свись-свись! — утята в пруду.

— Кряк-кряк! — отвечает им утка.

— Свись-свись! — утята в огороде.

— Квох-квох! — отвечает им курица.

Утята, конечно, не могут понять, что значит «квох-квох», а что слышится с пруда, это им хорошо известно.

«Свись-свись» — это значит: «свои к своим».

А «кряк-кряк» — значит: «вы — утки, вы — кряквы, скорей плывите!»

И они, конечно, глядят туда, к пруду.

— Свои к своим!

И бегут.

— Плывите, плывите!

И плывут.

— Квох-квох! — упирается важная птица-курица на берегу.

Они всё плывут и плывут. Сосвистались, сплылись, радостно приняла их в свою семью Дуся; по Мусе они были ей родные племянники.

Весь день большая сборная утиная семья плавала на прудике, и весь день Пиковая Дама, распушенная, сердитая, квохтала, ворчала, копала ногой червей на берегу, старалась привлечь червями утят и квохтала им о том, что уж очень-то много червей, таких хороших червей!

— Дрянь-дрянь! — отвечала ей кряква.

А вечером она всех своих утят провела одной длинной веревочкой по сухой тропинке. Под самым носом важной птицы прошли они, черненькие, с большими утиными носами; ни один даже на такую мать и не поглядел.

Мы всех их собрали в одну высокую корзинку и оставили ночевать в теплой кухне возле плиты.

Утром, когда мы еще спали, Дуся вылезла из корзины, ходила вокруг по полу, кричала, вызывала к себе утят. В тридцать голосов ей на крик отвечали свистуны. На утиный крик стены нашего дома, сделанного из звонкого соснового леса, отзывались по-своему. И все-таки в этой кутерьме мы расслышали отдельно голос одного утенка.

— Слышите? — спросил я своих ребят.

Они прислушались.

— Слышим! — закричали.

И пошли в кухню.

Там, оказалось, Дуся была не одна на полу. С ней рядом бегал один утенок, очень беспокоился и непрерывно свистел. Этот утенок, как и все другие, был ростом с небольшой огурец. Как же мог такой-то воин перелезть стену корзинки высотой сантиметров в тридцать?

Стали все мы об этом догадываться, и тут явился новый вопрос: сам утенок придумал себе какой-нибудь способ выбраться из корзины вслед за матерью или же она случайно задела его как-нибудь своим крылом и выбросила? Я перевязал ножку этого утенка ленточкой и пустил в общее стадо.

Переспали мы ночь, и утром, как только раздался в доме утиный утренний крик, мы — в кухню.

На полу вместе с Дусей бегал утенок с перевязанной лапкой.

Все утята, заключенные в корзине, свистели, рвались на волю и не могли ничего сделать. Этот выбрался.

Я сказал:
— Он что-то придумал.
— Он изобретатель! — крикнул Лева.
Тогда я задумал посмотреть, каким же способом этот «изобретатель» решает труднейшую задачу: на своих утиных перепончатых лапках подняться по отвесной стене. Я встал на следующее утро до свету, когда и ребята мои и утята спали непробудным сном. В кухне я сел возле выключателя, чтобы сразу, когда надо будет, дать свет и рассмотреть события в глубине корзины.
И вот побелело окно. Стало светать.
— Кряк-кряк! — проговорила Дуся.
— Свись-свись! — ответил единственный утенок.
И все замерло. Спали ребята, спали утята.
Раздался гудок на фабрике. Свету прибавилось.
— Кряк-кряк! — повторила Дуся.
Никто не ответил. Я понял: «изобретателю» сейчас некогда — сейчас, наверное, он и решает свою труднейшую задачу. И я включил свет.
Ну, так вот я и знал! Утка еще не встала, и голова ее еще была вровень с краем корзины. Все утята спали в тепле под матерью, только один, с перевязанной лапкой, вылез и по перьям матери, как по кирпичикам, взбирался вверх, к ней на спину. Когда Дуся встала, она подняла его высоко, на уровень с краем корзины. По ее спине утенок, как мышь, пробежал до края — и кувырк вниз! Вслед за ним мать тоже вывалилась на пол, и началась обычная утренняя кутерьма: крик, свист на весь дом.
Дня через два после этого утром на полу появилось сразу три утенка, потом пять, и пошло и пошло: чуть только крякнет утром Дуся, все утята к ней на спину и потом валятся вниз.
А первого утенка, проложившего путь для других, мои дети так и прозвали Изобретателем.

ЛИСИЧКИН ХЛЕБ

Однажды я проходил по лесу целый день и под вечер вернулся домой с богатой добычей. Снял я с плеч тяжелую сумку и стал свое добро выкладывать на стол.
— Это что за птица? — спросила Зиночка.
— Терентий,— ответил я.
И рассказал ей про тетерева, как он живет в лесу, как бормочет весной, как березовые почки клюет, ягодки осенью в болотах собирает, зимой греется от ветра под снегом. Рассказал ей тоже про рябчика, показал ей, что серенький, с хо-

холком, и посвистел в дудочку по-рябчиному и ей дал посвистеть. Еще я высыпал на стол много белых грибов, и красных, и черных. Еще у меня была в кармане кровавая ягодка костяника, и голубая черника, и красная брусника. Еще я принес с собой ароматный комочек сосновой смолы, дал понюхать девочке и сказал, что этой смолкой деревья лечатся.

— Кто же их там лечит? — спросила Зиночка.

— Сами лечатся,— ответил я.— Придет, бывает, охотник, захочется ему отдохнуть, он и воткнет топор в дерево и на топор сумку повесит, а сам ляжет под деревом. Поспит, отдохнет. Вынет из дерева топор, сумку наденет, уйдет. А из ранки от топора из дерева побежит эта ароматная смолка и ранку эту затянет.

Тоже нарочно для Зиночки принес я разных чудесных трав по листику, по корешку, по цветочку: кукушкины слезки, валерьянка, Петров крест, заячья капуста. И как раз под заячьей капустой лежал у меня кусок черного хлеба: со мной это постоянно бывает, что, когда не возьму хлеба в лес,— голодно, а возьму — забуду съесть и назад принесу. А Зиночка, когда увидала у меня под заячьей капустой черный хлеб, так и обомлела:

— Откуда же это в лесу взялся хлеб?

— Что же тут удивительного? Ведь есть же там капуста...

— Заячья...

— А хлеб лисичкин. Отведай.

Осторожно попробовала и начала есть.

— Хороший лисичкин хлеб.

И съела весь мой черный хлеб дочиста. Так и пошло у нас: Зиночка, капуля такая, часто и белый-то хлеб не берет, а как я из леса лисичкин хлеб принесу, съест всегда его весь и похвалит:

— Лисичкин хлеб куда лучше нашего!

СТАРУХИН РАЙ

Старушка одна шла по дороге. Закружилась у нее голова: нездорова была.

— Видно, делать нечего,— сказала старушка,— пришел мой час помирать.

Огляделась вокруг себя, где бы ей получше было тут прилечь и помереть.

— Не два же века жить,— сказала она себе,— надо и молодым дать дорогу.

И увидела она чистую лужайку, всю покрытую густой травой-муравой. Белая, чистая тропинка с отпечатками босых человеческих ног проходила через полянку. А посередине

была старая развалeнная поленница, мохом от времени закрылась, поросла высокими былинками. Понравилась эта мягкая поленница старухе.

— Не два же века жить! — повторила она.

И легла туда, в прутики, сама, ноги же вытянула на тропинку: пойдут когда-нибудь люди, ноги заметят и похоронят старуху.

Под вечер идем мы с охоты по этой самой тропинке и видим: человеческие ноги лежат, а на поленнице воробьи между собой разговаривают. Чудесно это бывает на вечерней алой зорьке, воробушки так, бывает, соберутся кучкой и, как дружные люди, между собой наговориться не могут: «Жив!» — говорят; вроде того, как бы радуется каждый, что жив, и каждый об этом всем говорит.

Но вдруг все эти воробьи — пырх! — и улетели. А на месте их, среди былинок, показалась старушкина голова. Живой рукой мы тут чай развели, обогрели старуху, обласкали, она ожила, повеселела и стала нам рассказывать, как она тут, в этой поленнице, собралась помирать.

— Вот, милые охотнички,— рассказала она,— закружилась у меня голова, и я думаю: не два же века мне жить, надо дать дорогу и вам, молодым. Ну, легла я в эту мягкую поленницу, в эти самые былинки. И стало мне хорошо, как в раю. Так и подумала, что все кончилось мне на земле. И тут прилетели птички: думаю, наверно, райские, вот какие хорошенькие петушки и курочки, вот какие ласковые и увертливые. Я таких птушек на земле никогда не видала. А что они между собой говорили, то мне было все там понятно — один скажет: жив! и другой отвечает: и я жив! И все так повторяют друг другу: жив, жив, жив!

Простые петушки, подумала я, тут, в раю, понимают, как хорошо жить на свете, а у нас, на земле, люди все-то жалуются, всем-то им нехорошо.

Тут один петушок, задорный такой, сел на веточку против самого моего рта, чирикнул:

— На, вот тебе!

Долго ли петушку, и капнул мне в самый рот, и поняла я, что не на небе лежу, на земле.

— Что ж,— засмеялись мы,— или ты думала: в раю птицы не капают?

— Нет, батюшки мои милые, не к тому я говорю, что птицы на небе не капают, а к тому, что не след у нас на земле рот разевать.

ЛИМОН

В одном совхозе было. Пришел к директору знакомый китаец и принес подарок. Директор, Трофим Михайлович, услыхав о подарке, замахал рукой. Огорченный китаец поклонился и хотел уходить. А Трофиму Михайловичу стало жалко китайца, и он остановил его вопросом:

— Какой же ты хотел поднести мне подарок?

— Я хотел бы,— ответил китаец,— поднести тебе в подарок свой маленький собак, самый маленький, какой только есть в свете.

Услыхав о собаке, Трофим Михайлович еще больше смутился. В доме директора в это время было много разных животных: жил кудрявый пес Нелли и гончая собака Трубач, жил Мишка, кот черный, блестящий и самостоятельный, жил грач ручной, ежик домашний и Борис, молодой красивый баран. Жена директора Елена Васильевна очень любила животных. При таком множестве дармоедов Трофим Михайлович, понятно, должен был смутиться, услыхав о новой собачке.

— Молчи! — сказал он тихонько китайцу и приложил палец к губам.

Но было уже поздно: Елена Васильевна услыхала слова о самой маленькой во всем свете собачке.

— Можно посмотреть? — спросила она, появляясь в конторе.

— Собак здесь! — ответил китаец.

— Приведи.

— Он здесь! — повторил китаец.— Не надо совсем приведи.

И вдруг с очень доброй улыбкой вынул из своей кофты притаенную за пазухой собачку, каких я в жизни своей никогда не видел и, наверное, у нас в Москве мало кто видел. Моей мягкой шляпкой ее можно было бы прикрыть, прихватить и так унести. Она была рыженькая, с очень короткой шерстью, почти голая и, как самая тоненькая пружинка, постоянно отчего-то дрожала. Такая маленькая, а глазищи большие, черные, блестящие и навыкате, как у муравья.

— Что за прелесть! — воскликнула Елена Васильевна.

— Возьми его! — сказал счастливый похвалой китаец.

И передал свой подарок хозяйке.

Елена Васильевна села на стул, взяла к себе на колени дрожавшую не то от холода, не то от страха пружинку, и сейчас же маленькая верная собачка начала ей служить, да еще как служить! Трофим Михайлович протянул было руку погладить своего нового жильца, и в один миг тот хватил его за указательный палец. Но, главное, при этом поднял в доме та-

кой сильный визг, как будто кто-то на бегу схватил поросенка за хвостик и держал. Визжал долго, взлаивал, захлебывался, дрожал, голенький, от холода и злости, как будто не он директора, а его самого укусили.

Вытирая платком кровь на пальце, недовольный Трофим Михайлович сказал, внимательно вглядываясь в нового сторожа своей жены:

— Визгу много, шерсти мало!

Услыхав визг и лай, прибежали Нелли, Трубач, Борис и кот. Мишка прыгнул на подоконник. На открытой форточке пробудился задремавший грач. Новый жилец принял всех их за неприятелей своей дорогой хозяйки и бросился в бой. Он выбрал себе почему-то барана и больно укусил его за ногу. Борис метнулся под диван. Нелли и Трубач от маленького чудовища унеслись из конторы в столовую. Проводив огромных врагов, маленький воин кинулся на Мишку, но тот не побежал, а, изогнув спину дугой, завел свою общеизвестную ядовитую военную песню.

— Нашла коса на камень! — сказал Трофим Михайлович, высасывая кровь из раненого указательного пальца.— Визгу много, шерсти мало! — повторил он своему обидчику и сказал коту Мишке, подтолкнув его ногой: — Ну-ка, Мишка, пыхни в него!

Мишка запел еще громче и хотел было пыхнуть, но быстро заметив, что враг от песни его даже не моргнул, он метнулся сначала на подоконник, а потом и в форточку. А за котом и грач полетел. После этого большого дела победитель как ни в чем не бывало прыгнул обратно на колени своей хозяйки.

— А как его звать? — спросила очень довольная всем виденным Елена Васильевна.

Китаец ответил просто:

— Лимон.

Никто не стал добиваться, что значит по-китайски слово «лимон», все подумали: собачка очень маленькая, желтая, и Лимон — кличка ей самая подходящая.

Так начал этот забияка властвовать и тиранить дружных между собой и добродушных зверей.

В это время я гостил у директора и четыре раза в день приходил есть и пить чай в столовую.

Лимон возненавидел меня, и довольно мне было показаться в столовой, чтобы он летел с коленей хозяйки навстречу моему сапогу, а когда сапог легонечко его задевал, летел обратно на колени и ужасным визгом возбуждал хозяйку против меня. Во время самой еды он несколько примолкал, но опять начинал, когда я в забывчивости после обеда пытался приблизиться к хозяйке и поблагодарить.

Моя комната от хозяйских комнат отделялась тоненькой перегородкой, и от вечных завываний маленького тирана мне совсем почти невозможно было ни читать, ни писать. А однажды глубокой ночью меня разбудил такой визг у хозяев, что я подумал, не забрались ли уж к нам воры или разбойники. С оружием в руке бросился я на хозяйскую половину. Оказалось, другие жильцы тоже прибежали на выручку и стояли кто с ружьем, кто с револьвером, кто с топором, кто с вилами, а в середине их круга Лимон дрался с домашним ежом. И много такого случалось почти ежедневно. Жизнь становилась тяжелой, и мы с Трофимом Михайловичем стали крепко задумываться, как бы нам избавиться от неприятностей.

Однажды Елена Васильевна ушла куда-то и в первый раз за все время оставила почему-то Лимона дома. Тогда мгновенно мелькнул у меня в голове план спасения, и, взяв в руки шляпу, я прямо пошел в столовую. План же мой был в том, чтобы хорошенько припугнуть забияку.

— Ну, брат,— сказал я Лимону,— хозяйка ушла, теперь твоя песенка спета. Сдавайся уж лучше.

И, дав ему грызть свой тяжелый сапог, я сверху вдруг накрыл его своей мягкой шляпой, обнял полями и, перевернув, посмортел: в глубине шляпы лежал молчаливый комок, и глаза оттуда смотрели большие и, как мне показалось, печальные.

Мне даже стало чуть-чуть жалко, и в некотором смущении я подумал: «А что, если от страха и унижения у забияки сделается разрыв сердца? Как я отвечу тогда Елене Васильевне?»

— Лимон,— стал я его ласково успокаивать,— не сердись, Лимон, на меня, будем друзьями.

И погладил его по голове. Погладил еще и еще. Он не противился, но и не веселел. Я совсем забеспокоился и осторожно пустил его на пол. Почти шатаясь, он тихо пошел в спальню. Даже обе большие собаки и баран насторожились и проводили его удивленными глазами.

За обедом, за чаем, за ужином в этот день Лимон молчал, и Елена Васильевна стала думать, не заболел ли уж он. На другой день после обеда я даже подошел к хозяйке и в первый раз имел удовольствие поблагодарить ее за руку. Лимон как будто набрал в рот воды.

— Что-то вы с ним сделали в мое отсутствие? — спросила Елена Васильевна.

— Ничего,— ответил я спокойно.— Наверно, он начал привыкать — и ведь пора!

Я не решился ей сказать, что Лимон побывал у меня в

шляпе. Но с Трофимом Михайловичем мы радостно перешепнулись, и, казалось, он ничуть не удивился, что Лимон потерял свою силу от шляпы.

— Все забияки такие,— сказал он,— и наговорит-то тебе, и навизжит, и пыль пустит в глаза, но стоит посадить его в шляпу — и весь дух вон. Визгу много, шерсти мало!

КАК Я НАУЧИЛ СВОИХ СОБАК ГОРОХ ЕСТЬ

Лада, старый пойнтер десяти лет,— белая с желтыми пятнами. Травка — рыжая, лохматая, ирландский сеттер, и ей всего только десять месяцев. Лада — спокойная и умная. Травка — бешеная и не сразу меня понимает. Если я, выйдя из дому, крикну: «Травка!» — она на одно мгновенье обалдеет. И в это время Лада успевает повернуть к ней голову и только не скажет словами: «Глупенькая, разве ты не слышишь, хозяин зовет».

Сегодня я вышел из дому и крикнул:

— Лада, Травка, горох поспел, идемте скорей горох есть!

Лада уже лет восемь знает это и теперь даже любит горох: горох ли, малина, клубника, черника, даже редиска, даже репа и огурец, только не лук. Я, бывало, ем, а она умница, вдумывается, глядишь, и себе начинает рвать стручок за стручком. Полный рот, бывало, наберет гороху и жует, а горох с обеих сторон изо рта сыплется, как из веялки. Потом выплюнет шелуху, а самый горох с земли языком соберет весь до зернышка.

Вот и теперь я беру толстый зеленый стручок и предлагаю его Травке. Ладе, старухе, уж, конечно, это не очень нравится, что я предпочитаю ей молодую Травку. Лохмушка берет в рот стручок и выплевывает. Второй даю — и второй выплевывает. Третий стручок даю Ладе. Берет. После Лады опять Травке даю. Берет. И так пошло скоро: один стручок Ладе, другой — Травке. Дал по десять стручков.

— Жуйте, работайте!

И пошли жернова молоть горох, как на мельнице. Так и хлещет горох в разные стороны у той и другой. Наконец, Лада выплюнула шелуху, и вслед за ней Травка тоже выплюнула. Лада стала языком зерна собирать. Травка попробовала и вдруг поняла: и стала есть горох с таким же удовольствием, как и Лада. Она стала есть потом и малину, и клубнику, и огурцы. И всему этому я научил Травку из-за большой любви ко мне Лады: Лада ревнует ко мне Травку и ест, Травка Ладу ревнует и ест. Мне кажется, если я устрою между ними соревнование, то они, пожалуй, скоро у меня и лук будут есть.

СИНИЙ ЛАПОТЬ

Через наш большой лес проводят шоссе с отдельными путями для легковых машин, для грузовиков, для телег и для пешеходов. Сейчас пока для этого шоссе только лес вырубили коридором. Хорошо смотреть вдоль по вырубке: две зеленые стены леса, и небо в конце. Когда лес вырубали, то большие деревья куда-то увозили, мелкий же хворост — грачевник — собирали в огромные кучи. Хотели увезти и грачевник для отопления фабрики, но не управились, и кучи по всей широкой вырубке остались зимовать.

Осенью охотники жаловались, что зайцы куда-то пропали, и некоторые связывали это исчезновение зайцев с вырубкой леса: рубили, стучали, гомонили и распугали. Когда же налетела пороша и по следам можно было разгадать все заячьи проделки, пришел следопыт Родионыч и сказал:

— Синий лапоть весь лежит под кучами грачевника.

Родионыч — в отличие от всех охотников — зайца называл не «косым чертом», а всегда «синим лаптем»; удивляться тут нечему: ведь на черта заяц не более похож, чем на лапоть, а если скажут, что синих лаптей не бывает на свете, то я скажу, что ведь и косых чертей тоже не бывает.

Слух о зайцах под кучами мгновенно обежал весь наш городок, и под выходной день охотники во главе с Родионычем стали стекаться ко мне.

Рано утром, на самом рассвете, вышли мы на охоту без собак: Родионыч был такой искусник, что лучше всякой гончей мог нагнать зайца на охотника. Как только стало видно настолько, что можно было отличить следы лисьи от заячьих, мы взяли заячий след, пошли по нему, и, конечно, он привел нас к одной куче грачевника, высокой, как наш деревянный дом с мезонином. Под этой кучей должен был лежать заяц, и мы, приготовив ружья, стали все кругом.

— Давай,— сказали мы Родионычу.

— Вылезай, синий лапоть! — крикнул он и сунул длинной палкой под кучу.

Заяц не выскочил. Родионыч оторопел. И, подумав, с очень серьезным лицом, оглядывая каждую мелочь на снегу, обошел всю кучу, и еще раз по большому кругу обошел: нигде не было выходного следа.

— Тут он,— сказал Родионыч уверенно.— Становитесь на месте, ребятушки, он тут. Готовы?

— Давай! — крикнули мы.

— Вылезай, синий лапоть! — крикнул Родионыч и трижды нырнул под грачевник такой длинной палкой, что конец

ее на другой стороне чуть с ног не сбил одного молодого охотника.

И вот — нет, заяц не выскочил.

Такого конфуза с нашим старейшим следопытом еще в жизни никогда не бывало; он даже в лице как будто немного опал. У нас же суета пошла, каждый стал по-своему о чем-то догадываться, во все совать свой нос, туда-сюда ходить по снегу и так, затирая все следы, отнимать всякую возможность разгадать проделку умного зайца.

И вот, вижу, Родионыч вдруг просиял, сел, довольный, на пень поодаль от охотников, свертывает себе папироску и моргает, вот подмаргивает мне и подзывает к себе.

Смекнув дело, незаметно для всех подхожу к Родионычу, а он мне показывает наверх, на самый верх засыпанной снегом высокой кучи грачевника.

— Гляди,— шепчет он,— синий-то лапоть какую с нами штуку играет.

Не сразу на белом снегу разглядел я две черные точки — глаза беляка — еще две маленькие точки — черные кончики длинных белых ушей. Это голова торчала из-под грачевника и повертывалась в разные стороны за охотниками: куда они, туда и голова...

Стоило мне поднять ружье — и кончилась бы в одно мгновенье жизнь умного зайца. Но мне стало жалко: мало ли их, глупых, лежит под кучами!..

Родионыч без слов понял меня. Он смял себе из снега плотный комочек, выждал, когда охотники сгрудились на другой стороне кучи, и, хорошо наметившись, этим комочком пустил в зайца.

Никогда я не думал, что наш обыкновенный заяц-беляк, если он вдруг встанет на куче, да еще прыгнет вверх аршина на два, да объявится на фоне неба,— что наш же заяц может показаться гигантом на огромной скале!

А что стало с охотниками! Заяц ведь прямо к ним с неба упал. В одно мгновение все схватились за ружья — убить-то уж очень было легко. Но каждому охотнику хотелось раньше другого убить, и каждый, конечно, хватит, вовсе не целясь, а заяц живехонький пустился в кусты.

— Вот синий лапоть! — восхищенно сказал ему вслед Родионыч. Охотники еще раз успели хватить по кустам.

— Убит! — закричал один, молодой, горячий.

Но вдруг, как будто в ответ на «убит», в дальних кустах мелькнул хвостик: этот хвостик охотники почему-то всегда называют «цветком».

Синий лапоть охотникам из далеких кустов только своим «цветком» помахал.

КОПЫТО

Ровно двенадцать лет тому назад, в 1926 году, я приехал в Сергиев (ныне Загорск) и несколько дней потерял там в напрасных поисках квартиры: никто не хотел пускать меня с пятью охотничьими собаками. Мне пришлось купить кое-какой домик с пустырем и тут устраиваться на долгое житье. Тарасовна, соседка моя справа, держала коз. Сосед слева был драч. К нему приводили старых и увечных лошадей, он их колол, сам пользовался мясом, шкуры отдавал хозяевам, а кости растаскивали чужие собаки. (Теперь это давно покончено, сосед служит сторожем на бойне.) Заборов между нашими участками никаких не было. Множество обглоданных собаками и обветренных костей белелось на моем участке. Козы Тарасовны паслись и у меня и у соседа-драча, где часто их обижали шальные собаки. Из-за этих коз и собак отношения соседей были невозможные. Немедленно я обставил весь свой участок хорошим забором на дубовых столбах, кости выбросил, пустырь распахал и отделил коз от собак. В то время у меня были такие охотничьи собаки: Ярик — ирландский сеттер; Кента — немецкая легавая, континенталь; дети Кенты — годовые щенки Нерль, Дубец и гончий Соловей. Все эти собаки, свободно разгуливая на обгороженном участке, время от времени выкапывали лошадиные кости, возились с ними; ворчали друг на друга. Заметив кость у собак, я немедленно отнимал ее и швырял через забор обратно к соседу. Мало-помалу таким образом были уничтожены все следы прошлого беспорядка, после чего мы купили петуха, и все пошло хорошо: петух закричал, и дом наш начал жить.

В летнее время, между весенней и осенней охотой, я писал свои рассказы под единственной липой на огороде, возле забора, на простом столике с врытыми в землю ножками. Над столиком у меня висела трапеция; пописав, я кувыркался, подтягивался, поливал огурцы, тут же пил чай, опять писал, и так жизнь проходила, как мне желалось. Одно было неважно, что собаки мне очень мешали писать. Это понятно, что я был для них притягательным центром: они возле меня то играли, то ссорились и пыль поднимали ужасную. Надо бы их разогнать, но как-то все не мог собраться круто расправиться с друзьями, тем более что глядеть на игры их мне иногда бывало интересней, чем даже писать. Пылища при играх душила меня, при ссорах обиженные жались к моим коленкам. Я должен судить, наказывать виновных. Так по слабости запускал отношения с собаками, а потом злился, и это больше всего мешало моим занятиям.

Случилось однажды: Кента недалеко от липы выкопала

из-под земли лошадиное копыто, давно обглоданное, без всяких признаков какой-нибудь съедобности, голое копыто из рогового вещества, с железной заржавевшей подковкой, с «конскими», пробитыми через «венец» и снаружи загнутыми гвоздями. Увидев такую дрянь, я хотел было швырнуть ее соседу через забор, но меня остановило страшное выражение глаз умной Кенты. Она глядела на старое, выветренное копыто с тем суеверным страхом, с каким глядят дети и необразованные люди на непонятные вещи. Поведение Кенты обратило внимание всех собак, и все они медленно и с опаской стали к ней подходить. Увидев близко от себя собак, Кента оскалила зубы, порычала, собаки замерли на месте. Немного поколебалась Кента и, разинув пасть так сильно, что даже мне стало страшно, захватила копыто и с ним залезла ко мне под столик, легла в львиной позе, а копыто положила между передними лапами. Собаки медленно, как загипнотизированные, двинулись к столику, дошли до какой-то невидимой черты, распределились по ней полукругом и, созерцая копыто, легли в тех же позах, как и обладательница открытого сокровища. При малейшем движении кого-нибудь вперед за установленную черту Кента злобно рычала, и нарушитель границы, поджав хвост, возвращался назад.

Вскоре я убедился, что организация спокойствия вокруг моего письменного стола — не случайное и не временное дело. Будь копыто хоть сколько-нибудь съедобным, напряженность собак была бы слишком велика и при первой оплошности Кенты началась бы грызня, да, наконец, сама Кента стала бы грызть копыто, и в конце концов оно было бы, как обыкновенная обглоданная и обветренная кость. Возможно, что для собачьего носа от вещества копыта, недоступного даже для собачьих зубов, исходил какой-то животный соблазнительный дух, и только благодаря такой «духовности» власть Кенты над другими собаками осуществлялась в полной тишине, спокойствии и неограниченной длительности.

У моих собак нет ни малейшего сомнения в существовании бога: бог — это я. И все сущее на земле, в том числе и копыто, произошло от меня. Бог дал, и бог взял. Так вот, окончив работу, я беру копыто и уношу с собой. На другой день вместе с бумагами и книгами я захватываю с собой из дому хранимое в особом платяном ящичке копыто. Никого я из собак не обижаю и передаю власть им всем по очереди. Выбрав очередного верховного властителя, я укладываю его под столом возле моих ног, и все другие собаки, хорошо усвоив порядок, укладываются возле столика, полукругом, принимая те самые львиные позы, благодаря которым можно мгновенно вскочить и выхватить копыто у зазевавшейся Кенты. Так,

уложив собак, я открываю сейф, вынимаю сокровище, очередной счастливец начинает властвовать, а я в тишине занимаюсь своими рассказами о повадках животных.

Прошло двенадцать лет. Все собаки мои описаны: Ярик, Кента, Нерль, Дубец, Соловей. Множество книжек о них для взрослых, для детей разошлось по нашей стране, и некоторые начинают перебираться за границу. Мало того: встречаются охотники, называющие этими моими именами своих собственных собак. И сколько дружеских писем, сколько друзей! Все это, конечно, очень хорошо, и одно только плохо: всех описанных собак нет уже на свете; они создали мне дружбу с людьми и ушли навсегда. Кента умерла от сердечной болезни, и вскоре за ней внезапно от той же наследственной болезни погибли Нерль и Дубец. Соловей умер, как умирают только самые лучшие гонцы-мастера: на всем ходу за лисицей старика хватил паралич. Рассказывать о конце Ярика мне пока тяжело. Так вот кончились мои собаки, и от знаменитого сейфа осталась только плетеная коробочка вятской работы. Копыто же не только пропало, но я о нем даже забыл. По всей вероятности, кто-нибудь из моих домашних, перебирая мой хлам, выбросил эту дрянь на помойку.

На днях сижу я под своей липой, за тем же самым столиком. Четырехмесячный щенок, пойнтер, блестящей черной масти, Осман, возится со своей матерью Ладой и сибирской лайкой Бией, принимает участие в этой непрерывной возне иногда даже молодой гончий, чрезвычайно поратый англо-русский Трубач. Пыль висит в воздухе, нечем дышать. Вдруг игра обрывается, и Лада начинает копать, быстро работая передними лапами. Сын ее Осман ей смешно подражает. Остальные собаки стоят в недоумении. И вот с тем же странным выражением, как было у Кенты, Лада глядит вниз и грозным оскалом зубов и рычанием отгоняет собак. Осман один только не слушается, но за это здорово ему попадает, обиженный бросается к моим ногам и визжит.

Так вновь было откопано и появилось на свет знаменитое копыто с железной подковой. И опять, конечно, я заключаю его в сейф и каждый день назначаю очередных собак верховными властителями. В тишине организованного мирка я пишу о своих новых собаках, но, признаюсь, чего-то мне не хватает. Да, никогда не вернуть теперь мне любимую Кенту, и только теперь мне стала вполне понятна примета старых охотников, что настоящая собака у охотника бывает только одна. Вот кто-то постучал в калитку. Разве в свое время Кента, услыхав стук, могла броситься к воротам и оставить на произвол судьбы таинственное сокровище?! Она бы только

рычала в ответ на стук у ворот. А Лада опрометью летит к воротам и увлекает всех собак за собой. Мне удалось задержать только маленького Османа, показать ему рукой на копыто, вообще дать понять, что пока нет никого, он легко может захватить власть. Мне было очень забавно представить себе, как этот маленький Осман с помощью копыта будет управлять большими собаками. Осман понял меня и начал тихонечко подходить. Однако, вспомнив недавнюю трепку за это копыто, он остановился и пытался, не переступая ногами, как-нибудь безопасно дотянуться хоть носом: понюхать и, если не страшно, остаться, а если окажется плохо, бежать.

— Вперед! — приказываю.

Посунулся.

— Смелее!

Задрожал. Вытянулся, насколько возможно, и, по-видимому, достиг носом недоступной нам атмосферы копыта. Однако, втянув в себя воздух собственности, он вдруг весь опал, поджал под себя свой прутик, бросился назад и спрятался в высоком картофельнике.

Собаки вернулись. Лада хватилась. Но я кончил работу и спрятал сокровище в сейф. Вот когда только опомнился от страха Осман, высунул голову из зелени и забрехал.

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ РУСАК

Мы пошли было на беляков, но в одной деревне нам сказали, что этой ночью у них волки разорвали собаку. Мы побоялись своих гончих пускать на лесных зайцев и занялись русаками. Скоро мы увидели, как один русак, желая забраться под кручу, переходил ручей и провалился. Но Соловей не побоялся, сам пошел по следу, сам провалился, выбрался, разобрался в следах и вытурил зайца. Мы его ранили, но скорости этим на первых порах зайцу не убавили: он помчался, скрылся на горизонте за холмами. Соловей и Пальма перевалили туда и скоро вышли из слуха.

Известно, как полевой заяц-русак бежит,— всю-то округу ославит, все-то в деревнях его перевидят, всякий, у кого есть ружье, снимает его с гвоздика.

— Заяц, заяц! — орут мальчишки без памяти.

И бегут за ним по деревне — кто с поленом, кто с камнем, кто с топором.

Редко заяц достается тому, кто его поднял.

Наш раненый русак несся из последних сил полями, оврагами, перелесками, деревнями: в иной деревне прямо по улице мчится — и за ним собаки. Опытные наши собаки не скалывались и на дорогах, зайцу наступал конец, и он с отча-

янья ударился в Дубовицах в Пахомов овин. Как раз в это время Пахом сидел возле огня и подкладывал дрова. Вдруг какая-то сила врывается, какой-то забеглый черт с длинными ушами влетел и — бах! — прямо в огонь, и так, что самого Пахома засыпало искрами и головешками.

Не помня себя, выбежал из овина Пахом и видит и слышит, как навстречу ему рубом рубят собаки. Тут только он понял, какой это черт влетел к нему, и, конечно, стал крыть нас, охотников, из души в душу. Но пороша была очень глубокая, он понял, что мы далеко и не скоро придем. Зайца нашего он отбил у собак, отнес в избу и велел старухе спешить. Пока мы добрались, пока разобрались в следах возле овина и, наконец, все поняли, заяц у старухи в чугунке, поставленном на горячие угли, поспел. Поблагодарили мы хозяев за угощение, они нас. Тем и кончилась наша охота.

СМЕТЛИВЫЙ БЕЛЯК

Приехали мы в деревню на охоту по белым зайцам. С вечера ветер начался. Агафон Тимофеич успокоил: «Снега не будет». После того начался снег. «Маленький,— сказал Агафон,— перестанет». Снег пошел большой, загудела метель. «Вам не помешает,— успокоил хозяин,— в полночь перестанет, выйдут зайцы; вам же легче будет найти их по коротким следам. Все, что ни делается, все к лучшему». Утром просыпаемся — снег валом валит. Мы хозяина к ответу, а он нам рассказывает про одного попа в далекое, старое время.

Рассказывает Агафон, что будто бы тогда у одного барина пала любимая лошадь. Пришел поп и говорит: «Не горюй, все к лучшему». А на другой день у барина еще одна лошадь пала. Опять тот же поп говорит: «Не горюй, что ни делается на свете, все к лучшему». Так терпел, терпел барин и, когда, наконец, десятая лошадь пала, велит позвать попа: хочет отколотить, а может быть, и вовсе решить. А было это в самое половодье, по пути к барину попади поп в яму с водой. Пришлось вернуться назад, отогреться на печке. Утром же, когда поп явился, гнев у барина прошел, и поп рассказывает, как он вчера шел к нему и в яму попал. «Ну, счастлив же твой бог,— сказал барин,— что ты вчера в яму попал».— «Счастлив,— ответил поп,— ведь я же вам и говорил постоянно, что ни делается на свете, все к лучшему».

— К чему ты нам рассказываешь все это? — спросили мы Агафона.

— Да что вы на метель жалуетесь: идите на охоту и увидите, что все к лучшему.

Метель вскоре перестала. Но ветер продолжался. Мы все-таки вышли промяться. И, переходя поле, говорили между собой, что вот, если случится нам поднять беляка и был бы он вправду умный, то стоило бы ему только одно поле перебежать, и след за ним в один миг заметет и собака сразу же потеряет. Но где ему догадаться: будет вертеться в лесу, пока не убьем. Вскоре мы вошли в лес. Трубач случайно наткнулся на беляка и погнал. Весело нам стало: нигде ни одного следа, и по свежему, нетронутому снегу бежит наш беляк, как по книге. «Что ни делается, все к лучшему!» — весело сказали мы друг другу и разбежались по кругу. И только стали на места, гон прекратился. Пошли посмотреть, что такое. И оказалось, беляк-то был действительно умный и как будто услыхал наш разговор: из лесу он выбежал в поле, и следы его перемело, да так, что и мы сами кругом поле обошли и нигде следа не нашли. Пришли домой с пустыми руками и говорим Агафону:

— Ну, как это ты понимаешь?

— Так и понимаю, что тоже все к лучшему,— сказал Агафон,— зайчик спасся, а вот увидите, сколько от него разведется к будущему году. Что ни делается на свете, все к лучшему.

ЗЛАЯ ЛИСИЦА

Барсучьи норы у нас расположены в еловом лесу, на высоком яру: тут все норы барсучьи, как город, а внизу речка бежит. На этом месте покойный егерь Алексей Михайлович, помню, рассказывал один свой случай с лисицей.

— Ночевать эта лисица,— рассказывал он,— постоянно ходила в одно место, тут недалеко. Редко лыжняком лисица ходит: оттого я пересек все следы лыжей, еще подправил керосинчиком, а один след не тронул и на ходу поставил капкан. Случилось, лисица и попала в этот капкан и затащила его в барсучью нору над речкой. Вырубил я крюк аршина в три, зацепил капкан, стал тянуть, да как-то оступился и аршина всего на два отъехал вниз. Сгоряча, когда меня вниз кинуло, не успел я крюк выпустить, выволок лисицу, и она с капканом на меня поехала, и, гляжу, мы с ней рыло в рыло. Лисица в капкане очень зла, глаза гуляют. Как она меня тут не изуродовала, не знаю. Бросил я тогда вниз и ружье, и крюк, перекинулся назад и покатился по яру вниз головой. Она же с капканом поехала вслед за мной. Летели мы, летели — и бух в воду, и опять в воде мы с ней рыло в рыло. Удивляюсь, прямо удивляюсь, как это она меня не изуродовала: видно, умная какая-то лисица была.

ЛАДА

Три года тому назад был я в Завидове, хозяйстве Военно-охотничьего общества. Егерь Николай Камолов предложил мне посмотреть у своего племянника в лесной сторожке его годовую сучку, пойнтера Ладу.

Как раз в то время собачку себе я приискивал. Пошли мы наутро к племяннику. Осмотрел я Ладу: чуть-чуть она была мелковата, чуть-чуть нос для сучки был короток, а прут толстоват. Рубашка у нее вышла в мать, желто-пегого пойнтера, а чутье и глаза — в отца, черного пойнтера. И так это было занятно смотреть: вся собака в общем светлая, даже просто белая с бледно-желтыми пятнами, а три точки на голове, глаза и чутье, как угольки. Головка, в общем, была очаровательная, веселая. Я взял хорошенькую собачку себе на колени, дунул ей в нос — она сморщилась, вроде как бы улыбнулась, я еще раз дунул, она сделала попытку меня за нос схватить.

— Осторожней! — предупредил меня старый егерь Камолов.

И рассказал мне, что у его свата случай был: тоже вот так дунул на собаку: а она его за нос, и так человек на всю жизнь остался без носа. И какой уж это есть человек, если ходит без носа!

Хозяин Лады очень обрадовался, что собака нам понравилась: он не понимал охоты и рад был продать ненужную собаку.

— Какие умные глаза! — обратил мое внимание Камолов.

— Умница! — подтвердил племянник.— Ты, дядя Николай, главное, хлещи ее, хлещи, как ни можно сильней, она все поймет.

Мы посмеялись с егерем этому совету, взяли Ладу и отправились в лес пробовать ее поиск, чутье. Конечно, мы действовали исключительно лаской, давали по кусочку сала за хорошую работу, за плохую, самое большее, пальцем грозили. В один день умная собачка поняла всю нашу премудрость, а чутье, наверное, ей досталось от деда Камбиза: чутье небывалое!

Весело было возвращаться на хутор: не так-то легко ведь найти собаку такую прекрасную.

— Не Ладой бы ее звать, а Находкой, настоящая находка! — повторял Камолов.

Итак, мы оба очень радостные приходим в сторожку.

— А где же Лада? — спросил нас удивленно хозяин.

Глянули мы — и видим: действительно, с нами нет Лады. Все время шла с нами, а как вот к дому подошла, как прова-

лилась сквозь землю. Звали, манили, ласково и грозно: нет и нет. Так вот и ушли с одним горем. А хозяину тоже несладко. Так нехорошо, нехорошо вышло. Хотели хоть что-нибудь хозяину дать,— нет, не берет.

— Только собрались Находкой назвать,— сказал Камолов.

— Не иначе, как леший увел! — посмеялся на прощанье племянник.

И только мы без хозяина прошли шагов двести по лесу, вдруг из кустика выходит Лада. Какая радость! Мы, конечно, назад, к хозяину. И только повернули, вдруг опять Лады нет, опять — как сквозь землю. Но в этот раз мы больше ее не искали, мы, конечно, поняли: хозяин колотил ее, а мы ласкали и охотились, вот она и пряталась, вот и все... И как только мы повернули домой, Лада, конечно, из куста явилась. По пути домой мы много смеялись, вспоминая слова хозяина: «Хлещи, дядя Николай, хлещи, как ни можно сильней, она все поймет!»

И поняла!

Лада теперь у меня уже четвертое поле работает отлично и по лесу и по болоту. Но самая любимая у нее дичь — это жирные длинноносые дупеля. В этой охоте все дело в чутье и в широте поиска. Охотников на дупелей великое множество, и надо успеть в короткое время обыскать места как можно больше. У меня есть жест такой: махну рукой по всему горизонту, и Лада летит, расширяя круги все дальше и дальше. И когда сделает стойку очень далеко и разглядит, что я не тороплюсь, возьмет и ляжет. Люблю я это гостю показать. Увидит он, что Лада легла по дупелю, затрясется весь от радости и бежать, а я его за рукав удерживаю, посмеиваюсь:

— Успокойся, успокойся, с этой собакой можешь не торопиться.

И даю закурить. И по дороге что-нибудь нарочно рассказываю забавное.

Вот убьет гость дупеля, положит в сетку жирного, доволен-предоволен, весь так и сияет.

— Ну и собака! — скажет.— А на какое самое большое расстояние от охотника она так может лечь и ждать?

— А хоть на полверсты,— говорю,— хоть на версту ляжет и ждет. Бывает, жарко, иду, не тороплюсь, а она заждется, скучно станет, возьмет и свернется калачиком. Прихожу, а из болота от ее тяжести вода выступит, и она в воде хоть бы что! Подивлюсь я, посмеюсь и говорю ей: «А вот ведь пословица говорится: «Под лежачий камень и вода не побежит...»

Гость расхохочется.

— Собака замечательная,— говорит,— вижу своими глазами и всему поверю: и что за полверсты ляжет, и даже что

за версту. А вот что калачиком перед птицей свернется, этому, хоть убей меня, не поверю!

Ну, конечно, мне тоже не хочется сознаваться, что на радости немного увлекся, и в оправдание себе привожу гостю всем известный охотничий рассказ: все его знают, и все охотно еще раз выслушают. Наверно, и вы это слышали, как один охотник пришел на болото, и собака его сделала стойку по дупелю. В тот самый момент, когда охотник направился к собаке, ему подают телеграмму, и он, не помня себя, бежит к лошади. Долго спустя вспомнил, что оставил на болоте собаку на стойке по дупелю. И махнул рукой на собаку. Через год является на то же место с другой собакой, и вот видит: на том же месте, где прошлый год собака стояла, теперь в той же позе скелет ее стоит, и дупель тоже умер на месте и тоже превратился в скелет.

— Вот как,— говорю я гостю,— по-настоящему врут, а что Лада от скуки свернулась калачиком...

— Лучше я скелету поверю,— говорит гость,— чем чтобы в ожидании охотника перед самой птицей в воде собака свернулась калачиком.

ГУСИ С ЛИЛОВЫМИ ШЕЯМИ

Однажды колхозный мальчик Миша прочитал книгу о разных животных; особенно понравился ему рассказ об утятах, и ему самому захотелось написать рассказ о гусях. Недалеко был один колхоз, где на речке всегда бывает много гусей.

— Попробую! — сказал он.

И отправился по лесной зеленой дорожке к гусям.

Скоро нагнал его колхозник Осип.

— Хочу рассказ написать о гусях,— сказал ему Миша,— подвези меня к речке.

— Садись,— ответил Осип,— только не зевай, не забывай рук на грядке: в лесу едем, о дерево можно руку повредить.

И, подумав немного, сказал:

— О гусях написать можно много. Вот я тебе расскажу, случай был на реке. Пропало у Якова четыре гуся, а были у него гуси меченые, с лиловыми шеями. Яков был нечист на руку: он отбил четырех гусей на реке и загнал к себе на двор. Дома он разломал лиловый чернильный карандаш, сделал краску и намазал шеи гусям. Тогда четыре чужих гуся стали тоже с лиловыми шеями. Три дня Яков за ними ухаживал, кормил, поил и купал в корыте. Гуси делали вид, что привыкли, а когда Яков их выпустил, они пошли к тетке Анне. Раз и два — все так, гуси идут к тетке Анне. В третий раз люди заметили и не дали Якову загонять гусей к себе обратно.

— Если гуси идут на двор к тетке Анне,— сказали колхозники,— значит, это гуси ее.

— Добрые люди,— сказал им Яков,— у тетки Анны все гуси белые, немеченые, а мои гуси с лиловыми шеями.

— Разве вот что с лиловыми шеями,— задумались добрые люди. И отпустили Якова.

— Всё? — спросил Миша.

— Чего тебе еще? — ответил Осип.— Так это было — рассказ об умном воре и о недогадливых людях: на то щука в море, чтобы карась не дремал.

— Никуда не годный рассказ! — сказал Миша.

И так возмутился, так взволновался неправдой, что забыл наказ Осипа не класть руку на грядку телеги. Мишин безымянный палец на левой руке попал между грядкой и деревом.

— Скажи еще хорошо, что не всю руку размяло,— сказал Осип.

Он вымыл раздавленный палец в ручье, перевязал тряпочкой и велел Мише бежать скорей обратно в колхоз.

Бедная Мишина мать! Как она испугалась, когда увидала Мишу в крови! Но хорошо, что в аптечке колхозной нашлась свинцовая примочка. Она сделала Мише компресс, перевязала палец чистым бинтом и велела ложиться в постель.

— Нет,— ответил Миша,— я буду сейчас писать рассказ о гусях.

И передал матери все, что слышал от Осипа.

— Так это было,— сказал Миша,— но разве можно писать о такой гадости? Я хочу написать, как надо.

— Правда,— ответила мать,— глупого и так у нас довольно, не надо об этом писать. Напиши, если можешь, как надо, я же прилягу сейчас, и ты потом меня разбуди: я сделаю на ночь тебе перевязку.

Миша писал рассказ, не обращая никакого внимания на боль. И когда кончил, то мать не стал будить. Довольный, улыбаясь, он сам перевязал себе очень хорошо палец и крепко уснул.

— Написал? — спросила его утром мать.

— Написал,— ответил Миша,— я написал как надо, а не как рассказывал Осип. Помнишь то место, когда добрые люди хотели остановить вора? «Раз гуси идут к Анне,— значит, это ее гуси»,— сказали добрые люди. «Добрые люди,— ответил им Яков,— у тетки Анны все гуси белые, немеченые, а мои гуси с лиловыми шеями».— «Разве вот что с лиловыми шеями»,— сказали добрые люди. И только хотели было отпустить Якова, вдруг вдали, на реке, показываются какие-то четыре гуся с темными шеями, ближе, ближе плывут, и, наконец, все видят: гуси эти неведомые тоже с лиловыми шеями. И они так важно

по-гусиному выходят на берег, стряхивают с себя воду, оправляются и, вытянув вперед лиловые шеи, направляются ко двору Якова.

Яков остолбенел и опустил хворостину, и гуси Анны, тоже важно, по-гусиному вытянув вперед лиловые шеи, пошли на двор к своей любимой хозяйке. И все стало ясно. «Вор! Вор! Вор!» — закричали колхозники. И выгнали вора из колхоза, и с тех пор нет в колхозе воров.

— Вот как надо! — с гордостью сказал Миша.— А Осип хочет, чтобы у нас в колхозе было, как в море: «На то и щука в море, чтобы карась не дремал».

Но мать не слышала конца рассказа Миши и не могла радоваться. Испуганно, изумленно глядела она на его руку. Совершенно черный, страшный ноготь с сочащейся из-под него кровью был на его безымянном пальце, а указательный хорошо, туго был перевязан бинтом.

С таким волнением Миша писал свой рассказ, что боль свою забыл и сгоряча даже палец перевязал не тот. Ничего не помня от радости, он вместо больного, безымянного пальца перевязал указательный.

Так написал Миша свой первый рассказ.

ЗВЕРИ-КОРМИЛИЦЫ

Соболь — небольшой, меньше кошки, зверек. Водится он только у нас, в СССР, в сибирской тайге. В старину шкурки соболя были деньгами, и на них, как на золото, можно было покупать всякие товары. Да и теперь соболий мех — один из самых драгоценных в мире, и оттого охотники преследовали и уничтожали зверька, не заботясь о будущем. Даже на далекой Камчатке соболь начал исчезать и скоро, наверно, исчез бы навсегда с лица земли, как исчезло немало зверей, которых теперь мы знаем только по скелетам и чучелам в музеях.

К счастью, наука в советское время успела взять в свои руки соболиное дело. Соболей стали разводить в неволе. Теперь уже и под Москвой, на Пушкинской зооферме, соболи растут и размножаются сотнями.

И в Соловках, и в Пушкине, и на Урале я наблюдал с интересом жизнь соболей, и самое первое, на что я обратил свое внимание, была их внутренняя, страстно-хищная кровожадность и внешняя пушистость, гибкость и грация. Этот зверек вполне отвечает пословице: «Мягко стелет — жестко спать».

Однажды, наблюдая кормление соболей в Соловецком питомнике, я сказал заведующему питомником, ученому-звероводу:

— Если бы соболи хотя бы наполовину были так велики

и сильны, как тигры, то благодаря своей ловкости, гибкости и хищности они бы всех тигров поели, как кроликов.

На эти слова зверовод ответил:

— Да, соболь — хищник примерный, но у нас был необыкновенный случай в питомнике, он доказывает, что даже у таких хищников бывает в жизни так, что они могут быть очень добрыми и нежными к зверям другой породы.

И он рассказал действительно необыкновенный случай.

Было это у них в Соловецком питомнике, кажется, в 1929 году. Там жила в то время старая, но очень красивая соболюшка Муся. У нее должны были родиться соболята, и все служащие в питомнике волновались.

И как было не волноваться!

У соболей часто бывает, что старая самка родит и тут же сама кончается, истратив на эти последние роды все силы. Опасность гибели дорогой старушки или ее потомства увеличивалась еще тем, что наблюдать и помогать, когда надо, при рождении соболей невозможно: соболи посторонних не выносят. И вот придумали установить в клетке микрофон и отвести все звуки из клетки в кабинет ученого-зверовода точно так же, как отводят звуки со сцены в квартиры.

Перед письменным столом был установлен громкоговоритель, и, когда наступил день родов, зверовод сел за стол и стал дежурить.

В одиннадцать ночи из клетки Муси послышался первый стон, и в ту же минуту из другой комнаты, взволнованные, настороженные, с навостренными ушами, явились кормилицы: собаки и кошки. У таких собак и кошек в зверопитомнике отнимают детей, отчего у них собирается много молока, и животному очень хочется освободиться от него: хоть бы когонибудь покормить. В питомнике собаки-кормилицы кормят лисят, кошки — соболей. Собаки и кошки — кормилицы — бесшумно прокрались в комнату зверовода и, навострив уши, сели против громкоговорителя. Всю ночь, до восьми утра, все кормилицы, не стронувшись с места, слушали, как Муся долго облизывала новорожденных и как они пищали.

Зверовод все время записывал в журнал, отмечая каждый звук по часам.

Все кончилось благополучно для матери, но молодые, четыре соболенка, все погибли. Первое время после родов Муся была очень слаба, за жизнь ее сильно боялись и кормили только живыми новорожденными кроликами.

Когда прошло значительное время, Муся поправилась, стала есть даже рубленую конину с рисом и день ото дня становилась все веселей. Вот тут наблюдатели заметили, что молоко у соболюшки почему-то не исчезает. Об этом странном явле-

нии сказали звероводу, и тот без всякого колебания решил, что раз молоко столько времени у матери не пропадает, значит, она кормит кого-то, значит, четырех мертвых соболят выбросили в свое время, а пятого проглядели, и он затаился где-нибудь в подстилке. Подняли крышку клетки и с изумлением увидели, что Муся не соболенка кормила, а кролика, и он теперь был уже довольно большой. Как, почему из множества съеденных Мусей живых кроликов она избрала себе одного,— было непонятно. Скорее всего, маленькому счастливцу, пока хищница ела другого, удалось попить соболиного молока. Таким образом, хищница-соболюшка выкормила и воспитала кролика-грызуна.

Многих ученых-натуралистов я потом спрашивал: как могло это случиться, как это возможно?

Все они пожимали плечами и отвечали:

— Да, соболь — хищник самый ужасный, и случай в Соловецком питомнике необыкновенный: он показывает, что даже и у таких страшных хищников бывает, что они могут быть очень добрыми и нежными к зверушкам, им вовсе чужим.

ПИКОВАЯ ДАМА

Курица непобедима, когда она, пренебрегая опасностью, бросается защищать своего птенца. Моему Трубачу стоило только слегка нажать челюстями, чтобы уничтожить ее, но громадный гонец, умеющий постоять за себя в борьбе и с волками, поджав хвост, бежит в свою конуру от обыкновенной курицы.

Мы зовем нашу черную наседку за необычайную ее родительскую злобу при защите детей, за ее клюв — пику на голове — Пиковой Дамой. Каждую весну мы сажаем ее на яйца диких уток (охотничьих), и она высиживает и выхаживает нам утят вместо цыплят. В нынешнем году, случилось, мы недосмотрели: выведенные утята преждевременно попали на холодную росу, подмочили пупки и погибли, кроме единственного. Все наши заметили, что в нынешнем году Пиковая Дама была во сто раз злей, чем всегда.

Как это понять?

Не думаю, что курица способна обидеться на то, что получились утята вместо цыплят. И раз уж села курица на яйца, не доглядев, то ей приходится сидеть, и надо высидеть, и надо потом выхаживать птенцов, надо защищать от врагов, и надо все довести до конца. Так она и водит их и не позволяет себе их даже разглядывать с сомнением: «Да цыплята ли это?»

Нет, я думаю, этой весной Пиковая Дама была раздражена не обманом, а гибелью утят, и особенное беспокойство ее

за жизнь единственного утенка понятно: везде родители беспокоятся о ребенке больше, когда он единственный...

Но бедный, бедный мой Грашка!

Это — грач; с отломанным крылом он пришел ко мне на огород и стал привыкать к этой ужасной для птицы бескрылой жизни на земле и уже стал подбегать на мой зов «Грашка», как вдруг однажды в мое отсутствие Пиковая Дама заподозрила его в покушении на своего утенка и прогнала за пределы моего огорода, и он больше ко мне после того не пришел.

Что грач! Добродушная, уже пожилая теперь, моя легавая Лада часами выглядывает из дверей, выбирает местечко, где ей можно было бы безопасно от курицы до ветру сходить. А Трубач, умеющий бороться с волками! Никогда он не выйдет из конуры, не проверив острым глазом своим, свободен ли путь, нет ли вблизи где-нибудь страшной черной курицы.

Но что тут говорить о собаках — хорош я сам! На днях вывел из дому погулять своего шестимесячного щенка Травку и, только завернул за овин, гляжу: передо мною утенок стоит. Курицы возле не было, но я себе ее вообразил и в ужасе, что она выклюнет прекраснейший глаз у Травки, бросился бежать, и как потом радовался — подумать только! — я радовался, что спасся от курицы!

Было вот тоже в прошлом году замечательное происшествие с этой сердитой курицей. В то время, когда у нас прохладными, светло-сумеречными ночами стали сено косить на лугах, я вздумал немного промять своего Трубача и дать погонять ему лисичку или зайца в лесу. В густом ельнике, на перекрестке двух зеленых дорожек, я дал волю Трубачу, и он сразу же ткнулся в куст, вытурил молодого русака и с ужасным ревом погнал его по зеленой дорожке. В это время зайцев нельзя убивать, я был без ружья и готовился на несколько часов отдаться наслажденью любезнейшей для охотника музыкой. Но вдруг где-то около деревни собака скололась, гон прекратился, и очень скоро возвратился Трубач, очень смущенный, с опущенным хвостом, и на светлых пятнах его была кровь (масти он желто-пегой в румянах).

Всякий знает, что волк не будет трогать собаки, когда можно всюду в поле подхватить овцу. А если не волк, то почему же Трубач в крови и в таком необычайном смущении?

Смешная мысль мне пришла в голову. Мне представилось, что из всех зайцев, столь робких всюду, нашелся единственный в мире, настоящий и действительно храбрый, которому стыдно стало бежать от собаки. «Лучше умру!» — подумал мой заяц. И, завернув себе прямо в пяту, бросился на Трубача. И когда огромный пес увидал, что заяц бежит на него, то в ужасе бросился назад и бежал, не помня себя, чащей и об-

дирал до крови спину. Так заяц и пригнал ко мне Трубача.

Возможно ли это?

Нет!

Я знал одного робкого человека: его смертельно оскорбили, он поднялся и вмиг уничтожил своего врага. Но... то был человек. У зайцев так не бывает.

По той самой зеленой дорожке, где бежал русак от Трубача, я спустился из лесу на луг и тут увидел, что косцы, смеясь, оживленно беседовали и, завидев меня, стали звать скорее к себе, как все люди зовут, когда душа переполнена и хочется облегчить ее.

— Ну и дела!

— Да какие же такие дела?

— Ой-ой, ой!

И пошло, и пошло в двадцать голосов, одна и та же история, ничего не поймешь, и только вылетает из гомона колхозного:

— Ну и дела! Ну и дела!

И вот какие это вышли дела. Молодой русак, вылетев из лесу, покатил по дороге к овинам, и вслед за ним вылетел и помчался врастяжку Трубач. Случалось, на чистом месте Трубач у нас догонял и старого зайца (поратая англо-русская порода), а молодого-то догнать ему было очень легко. Русаки любят от гончих укрываться возле деревень, в ометах соломы, в овинах. И Трубач настиг русака возле овина. Косцы видели, как на повороте к овину Трубач раскрыл уже и пасть свою, чтобы схватить зайчика...

Так бывает часто в борьбе, что все карты биты и остается какая-то одна, и уже тянет сонливая слабость стать жертвой и отдаться врагу: становится так, будто игра не стоит свеч и надо сдаваться и делаться жертвой. Бывает, враг все рассчитал, он знает даже три карты победы: вот тройка.

Тройка!

И тройка взяла.

Семерка!

Семерка взяла.

Туз!

И нет: вместо туза дама пик.

Это было на глазах у всех косцов.

Трубачу бы только хватить, но вдруг на него из овина вылетает большая черная курица — и прямо в глаза ему. И он повертывается назад и бежит. А Пиковая Дама ему на спину — и клюет и клюет его своей пикой.

Ну и дела!

И вот отчего у желто-пегого в румянах на светлых пятнах была кровь: гонца расклевала обыкновенная курица.

СОДЕРЖАНИЕ

Для детей среднего школьного возраста

Михаил Михайлович Пришвин

ЛИСИЧКИН ХЛЕБ

Редактор Н. Ц. Степанян
Художник В. В. Вагин
Художественный редактор Л. Н. Сильянов
Технический редактор И. И. Капитонова
Корректор Л. В. Конкина

ИБ № 2120

Кодированный оригинал-макет издания подготовлен на электронном печатно-кодирующем и корректирующем устройстве «Север». Сдано в набор 16.03.79. Подписано в печать 18.04.79. Формат 60×90$^{1}/_{16}$. Бумага типографская № 3. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 4,0. Уч. изд. л. 3,76. Тираж 500.000 экз. Заказ № 118. Цена 15 к. Изд. инд. ЛД-278.

Издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

15 коп.

СОВЕТСКАЯ РОССИЯ